

в переводе Дмитрия Шепелева

# ВЕЛИКИЙ РАЗЛОМ

**КРИСТИНА ЭНРИКЕЗ**

о строительстве  
Панамского канала,  
связавшем судьбы

Строки. Top-Fiction

Кристина Энрикез

**Великий разлом**

«Строки»

2024

## Энрикез К.

Великий разлом / К. Энрикез — «Строки», 2024 — (Строки. Top-Fiction)

ISBN 978-5-00216-463-9

«То, что он видел с обрыва, было не просто каналом, а великим разломом, который разделит Панаму надвое». Историческая сага о строительстве Панамского канала. Он должен стать чудом прогресса, свидетельством – будущее наступило. Но канал не только соединит Атлантический и Тихий океаны, но и разделит людей на два лагеря: противников и сторонников перемен. По разные стороны оказываются отец и сын. Франциско, местный рыбак, видит угрозу. Его сын Омар – возможность. Панама становится местом притяжения самых разных людей. Получить свой шанс надеется и Ада Бантинг – смелая шестнадцатилетняя девушка из Барбадоса, приехавшая в Панаму в надежде заработать деньги на операцию сестры. Джона Освальда же в страну приводит жажда исследования: он ученый, который верит, что способен справиться с малярией. Пока не заболевает его жена. Три факта о книге: 1. Роман о строительстве Панамского канала, проливающий свет на жизни людей, которых история обычно не замечает. 2. Нетипичный исторический сеттинг со столь же необычными персонажами. 3. Книга включена в список 100 обязательных к прочтению книг 2024 года по версии журнала TIME, а также стала выбором редакции New York Times. Ольга Чеснокова, редактор книги: Несмотря на непростую тему, Кристина Энрикез создала необыкновенную светлую книгу, которая показывает, что важнее всех исторических потрясений оказывается любовь.

ISBN 978-5-00216-463-9

© Энрикез К., 2024

© Строки, 2024

# Содержание

1	7
2	8
3	14
4	25
5	33
6	39
7	44
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# Кристина Энрикез Великий разлом

Copyright © 2024 by Cristina Henríquez. All rights reserved.

© Кристина Энрикез, 2025

© Дмитрий Шепелев, перевод, 2025

© Издание на русском языке, оформление. Строки, 2025

\* \* \*

**ТРЕБУЮТСЯ!**

**комиссией истмийского канала**

**4000 трудоспособных работников для панамы.  
двухгодичный контракт.  
бесплатный проезд в зону канала и обратно.  
бесплатное проживание и медицинское обслуживание.  
работа в раю!  
ставки от 10 до 20 центов в час.  
зарплата выдается дважды в месяц.  
обращайтесь в вербовочный пункт на трафальгарской  
площади.  
все обратившиеся проходят медицинский осмотр и  
вакцинацию.**

*Дж. М. Грассли*

*Представитель К. И. К.*

*1907*

# 1

Где-то неподалеку от Тихоокеанского побережья Панамы, в спокойной голубой воде залива сидел в своей лодке Франсиско Аквино. Лодку он смастерил своими руками из ствола кедра, который ободрал и выдолбил одним каменным теслом да кривым ножом, обтесывая и вытачивая, оглаживая рукой каждую поверхность и изгиб, и снова обтесывая и вытачивая, пока не превратил это кедровое бревно в самую, как он считал, великолепную лодку на всем море.

Франсиско сидел, держа на коленях весло. Возле босых ног, упирившихся в дно лодки, стояли катушка и деревянное ведро, которым он вычерпывал воду, когда ее набиралось больше, чем следовало. За борт свисала сеть.

Каждый день, кроме воскресенья, Франсиско вставал до рассвета, шел на берег и отвязывал лодку от колышка. Он греб навстречу волнам и, отойдя достаточно далеко, закреплял узлы на сети и опускал ее. Затем греб снова, медленно, прислушиваясь к плеску воды каждый раз, как вынимал и опускал весло. Он должен был двигаться с нужной скоростью, чтобы хорошенько натягивать сеть. Слишком замедлишься – и рыба не поведется. Слишком ускоришься – и спугнешь ее. Требовался тонкий расчет, но Франсиско рыбачил в этих водах большую часть жизни и знал, что к чему.

С востока подул ветерок, заиграв полями его шляпы. Лодка мягко покачивалась с бока на бок. Он ждал удачного момента, чтобы сняться с места. Вода ему подскажет. Франсиско подтолкнул ногой ведро, затем пододвинул обратно. Над головой кружили птицы. Он раскрыл ладони и стал рассматривать свою грубую, мозолистую кожу. Когда-то, давным-давно, дождливым днем, пронизанным солнечными бликами, Эсме взяла его руки в свои и повернула ладонями вверх. «Здесь карта, – сказала она ему, – в линиях твоей ладони». – «Карта чего?» – спросил он. А что она ответила? Он всегда пытался вспомнить и никак не мог.

Франсиско сжал пальцы в кулаки и вздохнул. Кругом простирался бесконечный океан, сверкая в лучах раннего солнца. Его лодка кренилась и покачивалась в тишине.

Зрение его, к сожалению, было уже не тем, что прежде. Франсиско прищурился на горизонт, туда, где однажды, надо полагать, выстроится вереницей корабль в сотню раз крупнее его лодочки, ожидая своей очереди переплыть через Панаму. Он хохотнул. Вздор, да и только, что-то невысказанное. Каждый моряк и мореплаватель, высаживавшийся на этих берегах, мечтал, что настанет день, когда корабль сможет проходить от океана к океану через Панаму, хотя как именно они рассчитывали перебраться от берега до берега, оставалось лишь гадать. Как ни крути, на пути у них лежал горный хребет великих Кордильер, проходящий прямо через перешеек, и о каких бы чудесах ни наслушался Франсиско за всю свою жизнь, он сроду не слышал о корабле, способном проплыть сквозь гору. Значит, разрежем горы, говорили они, сломаем хребет, и, как только это сделаем, вода обоих океанов хлынет с каждой стороны и образует пролив. Бредовый сон. Чтобы там, где миллионы лет была сплошная земля, заплескались два океана. Да кто поверит в такое?

Франсиско приподнял край шляпы и прищурился еще сильнее, пытаясь разглядеть призрачные очертания пароходов, шхун, линкоров и лодок – всех тех судов, которые, как клялись эти люди, потянутся сюда. Он сидел над водной гладью и всматривался в даль, но никаких кораблей не видел – лишь ослепительно-голубое небо. Возможно, подумал он, его проблема в том, что человеку нужна вера, чтобы видеть вещи, которых не существует, чтобы представить себе мир, который еще не создан. А свою веру Франсиско утратил давным-давно, как и многое другое.

## 2

С атлантической стороны Панамы, примерно посередине извилистого побережья, в порт Колон входило судно. Это был колесный пароход Королевской почты с высокими белыми мачтами, он шел с Барбадоса, приняв на борт порядка двадцати трех тысяч писем, лежавших на нижней палубе, и порядка восьми сотен пассажиров, стоявших на верхней. Большинство были мужчинами из Сент-Люси, Сент-Джона, Крайст-Чёрча и прочих приходов, разбросанных между ними. Они стояли на палубе в своих лучших костюмах, сбившись плечом к плечу, сжимая в руках жестяные кофры и саквояжи, и пылали лихорадочной надеждой.

Среди них на палубе сидела, обхватив руками колени, шестнадцатилетняя Ада Бантинг. На корабле она была впервые в жизни и все шесть дней пути просидела, прячась за двумя ящиками с курами, стоявшими на черном пароходном рундуке, и молясь, чтобы ее не нашли. Утром, перед тем как сбежать из дома, она написала записку на старой школьной дощечке и оставила на кухонном столе, где ее точно увидит мама, когда встанет. Записка не сообщала почти ничего, кроме того, что она отправилась в Панаму. Затем, на рассвете, Ада оделась в свою садовую одежду – потрепанные брюки и блузку на пуговицах, – закинула на плечо холщовый мешок с провизией, дошла до пристани и сумела в суматохе и толчее незаметно проскользнуть на корабль.

Все время, что куры не спали, они безостановочно кудахтали, верещали и пищали, и, как выяснила Ада, чем больше шикаешь на них, тем громче они кудахчут. Она подумала, что они наверняка голодные, поэтому на второй день раскрошила несколько крекеров из своих запасов, побросала крошки в ящики и смотрела, как куры клюют их. Это их немного успокоило. На третий день Ада снова покрошила им крекеры и слушала их довольное курлыкание. На четвертый день она поделилась с ними кусочком сахарного яблока, позаботившись сперва вынуть косточки. На пятый она вскрыла консервы с сардиной и после того, как съела большую часть, слизывая рассол с кончиков пальцев, скормила остатки курам. К шестому дню вся еда, что она взяла с собой, закончилась, и единственное, что она могла им дать, – это заверение, которое всегда давала ей мать: «На все воля Божья». Надо было в это верить.

Как только корабль причалил, все бросились на выход. Ада подождала, пока часть толпы рассеется, но даже когда она встала, то никто, слава богу, не обратил на нее ни малейшего внимания. Люди были слишком заняты, собирая вещи и напряженно всматриваясь, чтобы увидеть за парусниками и растущими вдоль берега пальмами, какая из себя Панама, к которой они так стремились. Аде та часть города, которую ей удалось разглядеть за пристанью, во многом напоминала Бриджтаун<sup>1</sup>: те же ряды двух- и трехэтажных деревянных зданий, выходящих фасадами на главную улицу, магазины с навесами и здания с вывесками, – и то, что все это казалось таким знакомым, одновременно обескураживало и успокаивало.

Прижимая к себе мешок, Ада вместе с остальными пробиралась к левому борту. Сзади ее брюки были влажными, но эти брюки, сшитые мамой, хорошо помогали ей затеряться в толпе, состоявшей в основном из мужчин. За все это время она видела лишь несколько женщин, и все они были старше ее. Также Ада надела в дорогу ботинки, черные кожаные ботинки, которые ей подарил человек по имени Уиллоуби Далтон, ухаживавший за ее мамой весь последний год или около того. Время от времени, обычно по воскресеньям, когда он знал, что они будут дома, Уиллоуби подходил, прихрамывая, к их двери с новым подношением в руках – полевыми цветами, плодами хлебного дерева или глиняной мисочкой. Несколько месяцев назад он принес пару черных ботинок. Ботинки были стоптаны на каблуках, а шнурки обтрепались, но, когда Уиллоуби протянул их Аде, мама взяла их и сказала: «Спасибо», как говорила каждый раз,

<sup>1</sup> Бриджтаун – столица Барбадоса. Здесь и далее прим. пер.

когда Уиллоуби приходил с подарком. А Уиллоуби каждый раз отвечал: «Всегда пожалуйста» – и продолжал стоять на крыльце, словно ожидая, когда его пригласят войти. Раз за разом повторялся этот неуклюжий танец. Мама кивала и закрывала дверь, и только после этого Уиллоуби разворачивался и шел домой.

Канаты, тянувшиеся вверх по мачтам, хлопали на ветру, и люди пихались и толкались. Когда Ада подошла к трапу, она спряталась за спину мужчины, несшего складной стул, надеясь, что стул защитит ее от двух белых офицеров, находившихся на причале. Они кричали у подножия трапа:

– Рабочий поезд! Рабочий поезд вон туда! – И показывали в сторону города.

Люди потоком сходили с корабля, направляясь, куда указывали офицеры, и Аде казалось, что лучший способ остаться незамеченной – это просто не отставать от людей. Она проделала такой путь, но ей все еще грозила опасность: кому-нибудь из офицеров могло показаться подозрительным, что молодая женщина путешествует одна, и, если они отведут ее в сторонку и узнают, что она безбилетная, они почти наверняка водворят ее обратно на корабль и отправят домой. Ада спустилась на пирс, прижимая к груди мешок, и прошла мимо офицеров. Даже из-за складного стула она расслышала их разговор. Один из них сказал другому:

– Передай капитану, что груз прибыл.

Ей было всего шестнадцать, но она знала достаточно, чтобы понять, что речь идет не о почте.

## |||||

Когда Ада вошла в поезд, представлявший собой в действительности не что иное, как вереницу открытых деревянных вагонов для скота, он был битком набит пассажирами с корабля, людьми с чемоданами, корзинами, растениями и ящиками. Она протиснулась в дальний угол вагона и ухватила одной рукой за поручень. Другой она придерживала свой мешок. Помимо сардин, крекеров и яблок в сахаре, у нее с собой было два комплекта нижнего белья, платье, флакончик миндального масла для укладки волос, лоскутное одеяло, которое она взяла со своей кровати, и три золотые кроны. Она жалела, что не захватила побольше еды, но было уже поздно. Ее мама всегда говорила, что ум у нее обгоняет здравый смысл, и, стоя в поезде, Ада улыбнулась, мысленно услышав, как мама распекает ее в своей манере. Мама, без сомнения, уже прочла ее записку, и Ада отчетливо представила ее тон – гораздо более суровый – в связи с тем, что она вот так взяла и уехала одна в Панаму, пусть у нее и была на то веская причина.

Ее сестра Миллисент болела, и ей требовалась операция, на которую у них не было денег. Доход ее мамы, работавшей швеей, был небольшой, и Ада сама бы устроилась, да только в те дни на Барбадосе работу найти было трудно. Зато все говорили, что в Панаме найти работу не труднее, чем срывать яблоки с веток. Если все могут пойти и сорвать их, подумала Ада, почему бы и ей не попробовать? Она пробудет здесь ровно столько, сколько понадобится, чтобы заработать денег на операцию Миллисент, а потом вернется.

Когда поезд тронулся, Ада стала всматриваться в лица окружающих ее молодых людей, одетых в костюмы, и все они выглядели такими же напряженными и выжидающими, как и она сама. Миновав город, поезд прогрохотал по низкому мосту и сквозь густую листву деревьев, а затем выехал на поле, достаточно широкое, чтобы вдалеке можно было рассмотреть темно-зеленые горы. Когда он с грохотом остановился возле небольшого городка, из него выскочила горстка людей и направилась к группе деревянных каркасных зданий, возведенных на сваях. Из вагона выглянул человек в пиджаке с рукавами, сильно не достававшими до запястий, и сказал, ни к кому не обращаясь:

– Это тута нам жить?

На это рассмеялся человек в запачканных штанах цвета хаки и синей рабочей рубашке.

– А ты чего ждал? Гранд-отеля?

Человек в коротком пиджаке указал на дома по другую сторону рельсов, ряд аккуратных зданий, выкрашенных в белый цвет с серой отделкой, и спросил, разве нельзя им там разместиться.

Мужчина в рабочей одежде снова усмехнулся.

– Энти дома золотые, – и указал на базу, – а нам жилье серебряное.

Человек в коротком пиджаке взглянул на него с озадаченным видом, и тот ему ответил, разве он не знает? В зоне канала, что ни возьми: лавки, вагоны, столовые, жилье, больницы, почта и зарплата, – все делится на серебряное и золотое. Золотое для американцев, а серебряное для них.

В каждой новой деревне и городке спрыгивало все больше людей. Поезд почти опустел. Ада не представляла, куда направляется. В какой-то момент стоявший рядом мужчина чуть наклонился к ней:

– Ну а вы чего? Есть где ночевать? На базу только белых женщин пускают, знаете?

Ада крепче сжала мешок.

– Но у меня найдется местечко, – мужчина похлопал себя по бедру, – голову вам преклонить.

Ада повернулась к нему:

– Я скорее в аду прилягу.

Она отпустила поручень и перешла на другую сторону вагона, а когда старший кондуктор громогласно объявил следующую остановку – Империя, – она тут же спрыгнула с поезда.



Другие мужчины, также сошедшие на остановке, направились мимо Ады к базе. Если ее и в самом деле туда не пустят, как ей сказали, тогда ей придется устроиться под деревьями. Завтра она попробует найти работу, но сейчас она так вымоталась, что не хотела ничего, кроме как прилечь и отдохнуть. Дома они с Миллисент и мамой делили одну спальню в задней части дома, и у каждой был свой матрас, набитый шелухой, на раме, сооруженной мамой. Вот бы сейчас лежать на такой кровати, думалось ей, вытянувшись во весь рост, закинув руки за голову и расправив пальцы ног. Однако ей придется довольствоваться одеялом, расстеленным на земле, если для этого найдется достаточно просторная прогалина.

Войдя в лес, она почувствовала прохладу, и воздух наполнился признаками жизни. Ада слышала, как что-то скользит, похрустывает, посвистывает и постукивает. Повсюду, где она проходила, мягкую землю покрывали ветки и мох, цветущие кусты и стволы деревьев. Она раздвигала заросли и видела лужи и слякоть. Нигде ей не попадалось сухой прогалины. День клонился к закату, и она так устала, что ей уже хотелось просто повалиться в кусты, как вдруг она заметила среди деревьев что-то наподобие товарного вагона. Проржавелый и покрытый плесенью, едва видимый за виноградными лозами и завесой густого кустарника, задние колеса утопали в грязи, и весь он был перекошен. Какое-то время Ада стояла и пыталась рассмотреть, нет ли кого поблизости, но слышала только зверушек, шелестевших листвой. Она подошла поближе и позвала:

– Эй?

Не услышав ответа, она направилась к дверному проему, вровень с ее головой, и снова позвала. Затем протянула руку и три раза постучала об пол. Опять ничего.

«Что ж, на все воля Божья», – подумала она, забралась внутрь и устроилась на полу.



Утром ада проснулась от шороха и стрекота насекомых. Она медленно села и огляделась, вспоминая вчерашний день. В щели между досками проникали солнечные лучи, давая достаточно освещения, чтобы разглядеть вагон изнутри. Но разглядывать было почти нечего, кроме паутины и ворохов листьев.

Ада спала в одежде, в которой сошла с корабля, и теперь, в сыром, спертом воздухе, та сделалась такой влажной, что липла к коже. Из мешка, лежавшего рядом с ней на полу, Ада достала платье, которое привезла с собой, – лоскутное платье в коричневую и желтую клетку, сшитое мамой, – и переделась в него. Она встала, одернула рукава на запястьях, разгладила складки на бедрах. Обулась, поплевала на ладонь и присела стереть грязь с ботинок. Затем подняла с пола мешок. Сухое платье и чистая обувь – это хорошее начало. Теперь оставалось найти еду и работу.



В лесу моросил дождик. Воздух понизу подернулся дымкой. «Где-то здесь, – думала Ада, – должна быть еда». При свете дня она разглядела то, чего не заметила прошлым вечером: с ветвей свисали виноградные лозы и ползучие растения, листья, похожие на клинки, переплетались с папоротниками. Все вокруг было ослепительно-зеленым. Оливково-зеленым, нефритово-зеленым, изумрудно-зеленым, лаймово-зеленым, зеленым, меркнувшим в тених, зеленым, подсвеченным солнцем. Она шла через зеленые занавеси и по зеленым коврам, надеясь увидеть что-нибудь знакомое – хлебное дерево, хвойник или папайю, – чем можно подкрепиться. Она слышала, что в Панаме полно бананов, и всматривалась в кроны деревьев, стараясь разглядеть их. Дома было проще. Дома Ада знала, на каких деревьях растут фрукты и на каких кустарниках ягоды такие спелые, что лопаются во рту. В огорожке за домом они выращивали кукурузу, маранту, маниоку и травы и ели то, что вырастили сами, а иногда обменивались чем-нибудь с соседями, и самый выгодный обмен бывал, когда мама отдавала початки кукурузы за вишни, которые выращивала миссис Каллендер у себя во дворе, – таких сладких и сочных на всем Барбадосе не сыщешь, утверждала миссис Каллендер, – и, когда Ада их ела, она признавала ее правоту. При мысли об этих вишнях у Ады потекли слюнки. В этом лесу должно быть что-то съедобное, и она наверняка это найдет, если искать достаточно долго, но у нее урчало в животе, платье, бывшее недавно таким приятным на ощупь, теперь промокло от дождя, ботинки снова запачкались, и Ада стала терять терпение, что, по словам ее мамы, было одной из худших ее черт, говорившей о том, что Ада никогда не ждала достаточно долго, чтобы все разрешилось само собой.



В городе бурлила жизнь. Ада перешла на дальнюю сторону железнодорожных путей, разделявших Империю надвое, и пошла по мощным улицам американской стороны, думая, что с большей вероятностью увидит объявления о работе на этой стороне, и одновременно высматривая еду. Флаги, свисавшие с балконов и реявшие на ветру, напоминали ей, кто здесь главный. Она впервые видела флаг Соединенных Штатов воочию, хотя один раз встречала его изображение в атласе в школе для девочек, куда ходила вдвоем с Миллисент. Именно в этом атласе, огромной брошюре, прошитой нитью, Ада впервые увидела карту Барбадоса. Если карта Соединенных Штатов занимала целый разворот, то весь Барбадос умещался в нижней

половине левой страницы. До этого Аде и в голову не приходило, что Барбадос меньше любой другой страны в мире. Но, увидев это, она не могла не задуматься, каково было бы оказаться где-нибудь еще. Насколько она знала, все в ее семье родились на Барбадосе и всю жизнь на нем прожили. Вскоре после рождения Ады ее мама ушла с сахарной плантации, на которой жила с детства, и историю об этом она множество раз рассказывала Аде и Миллисент – с неизменной гордостью. Каждый раз, когда Ада слышала ее, у нее возникала одна и та же мысль: мама могла уехать куда угодно. Уйдя с плантации, она могла уйти пешком на другой конец Барбадоса или уплыть на другой конец света. Но в тот момент, когда перед ней открывались такие возможности, когда могло произойти все что угодно, мама ушла не дальше чем за пределы официальной границы Бриджтауна и снова плюхнулась на землю. Пусть она переступила черту, но лишь одним пальцем. Она жила в своем маленьком мирке, и вот, по прошествии всех этих лет, у мамы не было ничего, кроме этого мирка, не было даже никакой мечты, насколько знала Ада.

По улице, застроенной двухэтажными зданиями и магазинами, двигались под моросящим дождиком экипажи и повозки, запряженные мулами, и семенили пешеходы. Женщины были под парасольками, а мужчины – в шляпах. У Ады не было ни того ни другого, а волосы, хоть и собранные, по обыкновению, в пучок, она не потрудилась поправить после сна, что в сочетании с дождем, подумала она с улыбкой, придавало ей, должно быть, страхолюдный вид. В детстве у нее всегда было грязное платье и ссадины на локтях, и волосы она расчесывала только по воскресеньям, перед тем как пойти в церковь, и вовсе не потому, что думала, будто Богу есть до этого дело, а потому, что так велела мама.

К тому времени, как Ада миновала типографию, парикмахерскую и кузницу, дождь прекратился. В животе у нее заурчало. Где-то здесь должен был находиться рынок, возможно, по другую сторону железной дороги. С мешком в руках она остановилась посреди улицы, раздумывая, не поискать ли ей рынок на той стороне, как вдруг ей свистнул мужчина, стоявший у входа в переулок. Она уже хотела отвернуться, но он указал на стоявшую рядом тележку, нагруженную фруктами.

– Папайя, манго, ананас, маммея! – произнес мужчина нараспев, когда она подошла к нему. Он взял манго и поднял над головой.

Ада была так голодна, что могла бы съесть все, что лежало на тележке, а в тени переулочка она увидела столько ярких, налитых фруктов, что невольно облизнулась.

– Вы сказали, маммея? – спросила она. – Американская маммея?

Мужчина положил манго и взял фрукт, заостренный с одного конца, с коричневой шершавой кожурой.

– Маммея, – повторил он.

Фрукт определенно походил на американскую маммею. На Барбадосе они еще не созрели, но каждый год с приходом апреля Ада ждала их с нетерпением. Мама замачивала мякоть в соленой воде, чтобы отбить горечь, и они с Миллисент либо ели их так, либо мама делала из них повидло.

– Почему одна? – поинтересовалась Ада.

– ¿Quieres?<sup>2</sup>

– Сколько стоит?

Но мужчина ей только улыбнулся.

Ада опустила мешок на землю и нащупала монеты, которые взяла с собой. Три кроны из мамино тайника. Однажды Ада обнаружила их, шаря по дому, и каждый раз, как проверяла, они не убавлялись. Возможно, мама откладывала эти деньги, но Ада взяла их с собой, веря, что очень скоро все вернет и еще добавит. Ада вытащила одну монету и показала мужчине. Крона – это слишком много для одного фрукта, но в тот момент ей было все равно. Она должна

---

<sup>2</sup> Хочешь? (исп.)

была поесть хоть что-нибудь. Ей казалось, она уже чувствует вкус маммеи, чувствует, как ее сок течет по деснам.

Мужчина взял монету и, зажав двумя пальцами, перевернул туда-сюда, изучая. Он одобрительно кивнул, сунул монету в карман и протянул Аде фрукт.

Ада тут же счистила ногтями толстую кожуру и впиалась зубами. Мякоть была такой нежной, что Ада чуть не расплакалась. Она вгрызалась в маммею, продолжая стоять у самого переулка, с мешком в ногах, а мужчина смотрел на нее. Она объела всю мякоть до самой косточки и стала жадно обсасывать и ее. Затем бросила косточку на землю и вытерла рот тыльной стороной ладони.

Мужчина, стоявший возле тележки, смотрел на нее как замороженный.

Ада усмехнулась ему.

– Спасибо, – сказала она и подняла с земли мешок.

Теперь, заполнив пустоту в желудке, она почувствовала себя лучше. Она подумала, что при первой возможности напишет письмо и найдет способ отправить домой. Если мама переживала, в чем Ада не сомневалась, письмо должно было успокоить ее. Если же мама злилась, в чем Ада также не сомневалась, с этим она мало что могла поделать.

### 3

За восемь месяцев до того, как Ада Бантинг поднялась на борт почтового судна, унесшего ее вдаль от дома, в котором прошло все ее детство, Мэриан Освальд с мужем Джоном Освальдом с готовностью взошли на борт парохода «Юнайтед фрут компани», державшего курс из Нью-Орлеана в Панаму. До парохода Мэриан с Джоном проделали путь пассажирским поездом из Брайсон-Сити, штат Теннесси, в окрестностях которого проживали, и большую часть дня Мэриан сидела, сложив руки на коленях, и радостно смотрела на мир, проносившийся за окном, а Джон рядом с ней читал. В поезде был оборудован вагон-ресторан с накрахмаленными белыми скатертями, а также вагон-бар с двумя служащими, убеждавшими непьющего Джона выпить виски с содовой и неслабо удивившимися, когда он заказал вместо этого только содовую. А в третьем вагоне Джон воспользовался случаем – и носильщик-негр начистил ему ботинки; Мэриан убеждала его дать чаевые, но Джон сказал:

– Он делает свою работу. Человека не следует вознаграждать за то, что он делает то, что положено.

У Мэриан с собой не было денег, но она подумала, что, если бы были, она бы не преминула сунуть носильщику монету-другую.

На корабле их ждала не меньшая роскошь. Пароход, из числа тех, которые впоследствии станут известны как Великий белый флот, перевозил в трюмах тридцать пять тысяч гроздьев бананов и пятьдесят трех пассажиров в каютах наверху. Освальды остановились в каюте, достаточно просторной для двух односпальных кроватей с туалетным столиком между ними и двумя окнами, из которых открывался вид на бескрайний океан, однако Джон задернул маленькие занавески – он считал, что от вида волн, то вздымающихся, то опадающих, им наверняка станет плохо. Но закрытые занавески не помогли. Точнее сказать, помогли Джону, но не Мэриан. Мэриан впервые в жизни оказалась в морском путешествии, и почти все пять дней ее тошнило в жестяное ведро, которое смотревший за ней судовой врач периодически выливал за борт. Врач приносил ей воду, но Мэриан не могла заставить себя выпить ее. Ей хотелось сказать ему, что воды с нее и так достаточно. Ей отчаянно хотелось увидеть сушу. Когда раздался сигнал о том, что они приближаются к панамскому побережью, Мэриан прониклась небывалой благодарностью судьбе.

Остальным же пассажирам вид портового города Колона, очевидно, не внушал положительных эмоций. Мэриан и сама не знала, чего ожидать, но, выйдя на палубу, увидела вдалеке ряд бурых деревянных зданий и людей, прохаживавшихся по улице: мужчины несли бревна на плечах, а женщины – корзины с фруктами на головах. Полуодетые дети сидели на корточках. Там же были ослы и повозки, запряженные мулами, бесхозные куры и бродячие собаки. Вода у пирса была такой же бурой, как и все вокруг. До слуха Мэриан донеслось, как одна женщина назвала это место «удручающим покурри». Что показалось ей несправедливым. Главным, что чувствовала Мэриан, было любопытство, и единственное, что беспокоило ее, когда они встали на якорь, – это зловоние донельзя влажного воздуха. Едва она почувствовала этот запах, как ее стошнило за борт корабля. Джон, стоявший рядом, взглянул на нее и нахмурился. Ей хотелось, чтобы он предложил ей носовой платок, но он этого не сделал, и ей пришлось вытереть рот рукой.

Рыжеволосый морпех из Луизианы, с которым Джон подружился за время плавания – по словам Джона, они играли в шашки, пока Мэриан нездоровилось, – стоял с ними у поручней корабля. Он сказал:

– Да ведь мы в болото приплыли!

Джон кивнул:

– Совершенно верно. И мы его вычистим.



Освальды спустились с корабля и поехали в экипаже. Со временем они усвоят, что перемещаться вдоль канала лучше всего поездом, но в тот день, день своего прибытия, они воспользовались экипажем. Две запряженные серые лошади были истощены и слабы, и погонщик, панамский мальчик, то и дело стегал их словно в наказание, а не для того, чтобы заставить идти быстрее. Мэриан сжималась при каждом ударе хлыста. В Теннесси у Освальдов было два великолепных жеребца, которых они держали в конюшне у себя в имении. То был свадебный подарок от отца Джона, считавшего, что каждый мужчина должен уметь ездить верхом. На свадьбе его отец, смеясь, рассказал собравшимся, что в детстве Джон не проявлял особого интереса к тому, чтобы освоить верховую езду: как держаться в седле, как переходить на легкий галоп и скакать во весь опор. «Этот недостаток я намерен исправить». Но, даже став владельцем лошадей, Джон ими почти не занимался. Зато Мэриан каждый день ходила в конюшню, чистила их скребницей и кормила яблоками в знак поощрения. Она назвала их Гораций и Чарльз, в честь писателей, которых любила, и, если не шел проливной дождь, она что ни день седлала то одного, то другого и объезжала пышные зеленые просторы, принадлежавшие Освальдам, в обрамлении гряды Грейт-Смоки-Маунтинс. Катаясь верхом, Мэриан чувствовала себя свободной, пусть она никогда и не выезжала за границы их надела.

Вскоре после того, как у них появились лошади, Мэриан уговорила Джона прокатиться с ней верхом – в первый и последний раз. Было раннее утро, и солнце подсвечивало облака. Как только лошади перешли на рысь, Джон потерял равновесие и упал навзничь на землю. Чарльз, конь, на котором он ехал, проскакал еще немного и остановился.

Мэриан развернула Горация и спешила, держа поводья в одной руке. Очки Джона валялись на земле, она подняла их, опустилась рядом с ним на колени и спросила, в порядке ли он. Она боялась, не сломал ли он себе чего-нибудь, и позже врач, осмотревший его, подтвердил, что у Джона сломаны два ребра. Однако в тот момент Джон ей сказал только: «Мои очки, пожалуйста», а затем, когда она подала их ему, отвел взгляд, словно смутившись.

Мэриан проводила его домой. Он медленно шел рядом, а она вела за поводья Горация с Чарльзом. Ни Джон, ни она не разговаривали. Заведя лошадей в конюшню, Мэриан отправилась в спальню, куда ушел прилечь Джон.

– Где болит? – спросила Мэриан.

Он указал на грудь.

– Можно мне? – Мэриан протянула руку к пуговице на его рубашке. К тому времени они были полгода как женаты.

Джон кивнул.

Стоя над ним, Мэриан расстегнула все пуговицы и осмотрела его. Она не привыкла видеть его обнаженную грудь, особенно при свете дня. Обычно Джон спал в нижнем белье, укрывшись от шеи до лодыжек, и, следуя примеру мужа, она тоже спала одетой. Каждую ночь, когда Джон гасил лампу и они лежали рядом в темноте, Мэриан ждала, чтобы его руки нащупали ее, расстегнули ночную рубашку и сделали то, что положено делать мужу с женой, все то, чего Мэриан так отчаянно хотела от него, но Джон только поворачивался на бок и приобнимал ее одной рукой, ни разу не попытавшись куснуть ее за ухо или провести пальцами по шее. Она ждала этого ночь за ночью. Так проходили недели. Месяцы. Однажды ей надоело ждать, и Мэриан сама повернулась к нему, запустила пальцы под воротник рубашки и нащупала нежную тонкую кожу горла. Так у них и повелось, и, если иной раз она запускала руку ему между ног, ей удавалось пробудить его интерес настолько, чтобы он овладевал ею в каком-то слепом порыве, сплошь натиск и скорость, словно он стремился к некой финишной черте, и в нем внезапно проявлялась грубость, возбуждавшая ее. Они становились бурей в ночи, метались и

бушевали, но очень скоро все заканчивалось, и сразу после этого Джон перекатывался на свою половину кровати.

В тот день, когда Джон упал с лошади, Мэриан не увидела у него синяков. Тем не менее она сходила и принесла из ванной марлевый рулон. Она просунула руку Джону под поясницу, пропустив ткань, и обернула вокруг его торса.

Он поморщился.

– Болит? – спросила она.

Джон поднял взгляд, но не на нее. Все то время, что она его знала, в нем всегда было что-то непроницаемое, что-то, оставшееся скрытым от нее.

– Нет, – сказал он наконец. И добавил: – Извини.

Мэриан молча и бережно обвязала его марлей, достаточно туго, чтобы, как она надеялась, исцелить возможную травму.

|||||

Экипаж остановился у подножия холма. О том, чтобы лошади одолели подъем, не могло быть и речи, так что Джону и Мэриан пришлось выйти на самое пекло и проделать остаток пути пешком. Их сумки кто-нибудь принесет позже, во второй половине дня.

Они пошли по дорожке, протоптанной в траве, мимо банановых и лаймовых деревьев с маленькими усатыми соцветиями. Между деревьями виднелись разбросанные по всему склону холма грубые лачуги с некрашеными стропилами, выглядывавшими из-под соломенных крыш. У некоторых перед входом стояли бочки с водой, а на палках, воткнутых в землю, висела одежда. Во дворе одной из них стоял чернокожий мужчина в комбинезоне, наблюдая за проходившей мимо парой.

– Давай быстрее, – сказал Джон Мэриан. – Вон наш дом.

Он указал на вершину холма, где одиноко стоял большой белый дом, залитый солнцем. Двухэтажный, с широкой застекленной верандой, которая тянулась вдоль фасада и огибала его по бокам.

– Это слишком, – сказала Мэриан.

Джон сказал:

– Это наш собственный дом на холме. – Теодор Рузвельт, которым Джон восхищался, называл так свой дом в Ойстер-Бее. – Наш райский уголок, вознесенный над всем остальным.

|||||

Вечером после того, как Джон получил телеграмму с просьбой прибыть в Панаму, Мэриан увидела его за домом, пристально смотревшим на серо-голубые горы, изборожденные тенями. Она подошла к нему. Стрекотали сверчки, наяривая лапками, и остывший воздух был приятно сухим.

– Меня зовут в Панаму, – сказал Джон. Он не повернулся к ней.

Джон давно жил в ожидании этого призыва. Мэриан понимала, что это только вопрос времени.

Она тоже посмотрела на горы. Ее детство и юность прошли в Теннесси, из четверых детей в семье она одна прожила больше пяти лет. Ее мать была чопорной женщиной, поддерживавшей порядок в доме, и единственное удовольствие, какое она позволяла себе, – это жевать по вечерам корень лакрицы, пока он не размякнет. Отец, с кем Мэриан ладила лучше, был лесорубом и часто брал ее с собой на прогулки вдоль реки, показывая деревья: гикори, дуб, тополь, ель, пихту. По вечерам, когда ей следовало заниматься рукоделием, которому ее учили в школе, она вместо этого проводила часы при свечах, читая альманах, единственную книгу, кроме Биб-

лии, имевшуюся в родительском доме. Ее родители умерли много лет назад, но Мэриан до сих пор любила тот край, горный лавр, цветущий в июне, рододендроны, разраставшиеся по обочинам дорог, бродячих лосей и вездесущий болиголов.

– Официально я буду руководить лабораториями Санитарного управления, но мне дадут полную свободу действий, чтобы заняться малярией и наконец искоренить ее. Как они справились с желтой лихорадкой. – Джон сделал паузу. – Ты ведь знакома с наукой, Мэриан. Что ты думаешь? Можно этого достичь?

Джон, как она знала, вот уже несколько лет завистливо наблюдал со стороны, как другие люди брали под контроль желтую лихорадку в Панаме. И он был прав: она изучала исследования и отчеты.

Она повернулась к нему:

– Не вижу, почему бы нет.

Джон кивнул, не сводя глаз с деревьев. Ей были знакомы очертания его профиля – линия носа, резкий подбородок.

Они были женаты уже десять лет. Они познакомились в Ноксвилле, куда Мэриан приехала изучать ботанику в Женском институте. Стремясь внести свой вклад в оплату обучения, она устроилась на подработку. В то время в Теннесси был лесной бум. По всем Аппалачам валили деревья, и звук, который они издавали при падении, этот ужасный «бум», сделался в ушах людей словом, означающим что-то хорошее. Промышленность бурно развивалась, появлялось столько лесопилок и мануфактур, что спрос был высок не только на лесорубов, но и на административный персонал. Устроиться на работу в «Лесозаготовки» Освальда было легко. Освальды также владели фермерской и машиностроительной компаниями. По словам некоторых людей, им принадлежала половина Ноксвилла. Эти три коммерческих предприятия разделили между собой трое младших Освальдов, шагнув в свое заранее подготовленное будущее. Мэриан три года проработала стенографисткой в лесопромышленной компании, составляя транспортные накладные и заказы на поставку, прежде чем увидела Джона Освальда, который был младшим из трех братьев, а также отщепенцем, единственным из них, кто, по слухам, стремился следовать своим путем. И прежде чем она узнала о нем что-либо еще, Мэриан уже восхищалась этим его качеством. Однажды Джон зашел в контору поговорить с отцом, а вместо этого засмотрелся на нее. Долгим взглядом, от которого у нее побежали мурашки. Она сидела за грубым дубовым столом и понимала, как выглядит – безыскусно и неприятно. И все же он пристально посмотрел на нее с другого конца комнаты, а затем подошел и, едва успев остановиться, сказал:

– Если вы свободны, могу я пригласить вас куда-нибудь вечером?

То был первый раз, когда мужчина проявил к ней хоть какой-то интерес. Всю оставшуюся жизнь она будет гадать, что Джон увидел в ней в тот день. Один раз она спросила его об этом, но он посмотрел на нее с таким явным непониманием, что это надломило ей душу. Она предположила, что просто случайно оказалась там, и, если бы на ее месте была другая девушка, возможно, он пригласил бы на свидание ее. Эта девушка могла бы сказать «да» или «нет», и жизнь Мэриан, протекающая в какой-то параллельной сфере, осталась бы нетронутой. Но нет, это случилось с *ней*, и она знала, что на то должна быть некая причина.

Он повел ее в элегантное кафе-мороженое на Рыночной площади, и в тот вечер Мэриан узнала, что Джон разбирается в самых разнообразных темах. Он говорил о том, что Оскар Хаммерстайн<sup>3</sup> собирается открыть театр в Нью-Йорк-Сити, и о работе Луиса Салливана<sup>4</sup> на Среднем Западе. У него имелись свои мнения о президенте Кливленде и о только что одоб-

---

<sup>3</sup> Оскар Грили Кленденнинг Хаммерстайн II (1895–1960) – американский писатель, сценарист, продюсер и поэт-песенник, автор либретто многих знаменитых мюзиклов.

<sup>4</sup> Луис Генри Салливан (1856–1924) – американский архитектор, первопроходец рационализма в архитектуре XX века, отец американского модернизма.

ренном тарифе Уилсона – Гормана<sup>5</sup>. Когда же он спросил Мэриан, слышала ли она о человеке по имени Нансен, намеревавшемся отправиться в Арктику, она сказала:

– Разумеется. А вы знали, что его корабль, который он называет «Фрам», значит «вперед» по-норвежски?

Джон посмотрел на нее так, словно был и удивлен, и впечатлен.

Не прошло и года, как они поженились. Мэриан окончила институт. У нее была мысль, что она могла бы найти работу по специальности, возможно, научной сотрудницей, но, когда она заговорила об этом, Джон сказал:

– К чему? Что толку? И в этом нет нужды, Мэриан. Теперь-то.

Он хотел приободрить ее, но ее возмутила мысль о том, что женщине не стоит пытаться как-то проявить себя вне брака, и ей стало трудно дышать.

Они купили большой дом в маленьком городке в округе Севьер, штат Теннесси, примерно в тридцати милях от Ноксвилла. Джон, чьи карьерные устремления выходили за рамки лесопромышленной компании, хотел держаться подальше от своей семьи и их влияния. Городок с универсальным магазином, кузницей, школой и церковью напоминал Мэриан о годах отрочества. Она проводила дни в одиночестве, осваивая кулинарные рецепты и прогуливаясь вдоль рек и ручьев, вдыхая свежий горный воздух, бродя по коврам из полевых цветов и по усыпанной иголками лесной подстилке, мягкой, как губка после дождя. Часто она брала с собой книги и читала на солнце. «Уроки по ботанике и физиологии растений» Грея, «Принципы научной ботаники» Шлейдена, «Опыты о гибридизации растений» Менделя. Когда она уставала от чтения, она седлала Горация или Чарльза и каталась верхом, и зачастую они оказывались единственными, кто слышал ее голос за весь день. Джон начал работать в небольшой лаборатории, исследуя теорию о том, что в распространении болезней повинны комары. Это открытие было сделано семнадцатью годами ранее кубинским врачом по имени Карлос Хуан Финлей, а затем проверено американским врачом по имени Уолтер Рид. Но на рубеже веков многим людям все еще было трудно в это поверить. Как могло маленькое тщедушное насекомое, не тяжелее паутинки, распространять болезни, уносящие человеческие жизни? Такой скептицизм только укреплял решимость Джона.

– Это неоспоримый факт, – сказал он ей как-то раз, – и мы им это докажем.

Джон часто работал до поздней ночи, и вечера Мэриан проводила в таком же одиночестве, как и дни. Она вступила в брак без особых надежд. Главным образом она испытывала благодарность за то, что кто-то вообще захотел на ней жениться. Но она росла единственным ребенком в семье, у нее было мало друзей, и она надеялась, что брак, по крайней мере, положит конец одиночеству. Этого не произошло. Даже когда Джон бывал дома, его разум не расслаблялся. Он был постоянно рассеян, погружен в свои мысли, физически присутствовал, сидя в своем кресле, но мысленно пребывал где-то еще. Если Мэриан надеялась завести с ним разговор, ей приходилось спрашивать его о работе. Только тогда он оживлялся. Со временем она выяснила, что лучший способ завязать с ним беседу – это заговорить о книгах, которые она читает. Пусть он не проявлял интереса к ней, но наукой он увлекался.

Когда он рассказал ей о работе в Панаме в тот вечер за домом, он, казалось, испытал облегчение, услышав, как она выразила уверенность в его успехе.

– Ты права, – сказал он. – Панама вполне может оказаться последним рубежом распространения малярии. И любой, кто будет ответственен за уничтожение... Ну, в общем, эти люди войдут в историю.

Его взгляд был устремлен на горизонт, как вдруг он неожиданно взял ее за руку. Мэриан вздрогнула и чуть не отняла руку. Она поняла, что это значит. Он ищет ее одобрения. Он так

---

<sup>5</sup> Тариф Уилсона – Гормана (Тариф 1894 года) – также известен как Закон о снижении налогов и обеспечении доходов правительства.

редко касался ее. И то, что он сделал это, говорило о его решимости. Возможно, подумалось ей, они станут там счастливее. Возможно, эта перемена что-то пробудит в нем.

– Я понимаю, – сказала Мэриан, пристально глядя вдаль. – И нет никого, кто направил бы этих людей лучше тебя.

Джон повернулся и посмотрел на нее с такой благодарностью, что на секунду она приняла ее за любовь.



Через две недели после приезда в Панаму, на одном из многочисленных вечерних мероприятий, на которых, как быстро выяснила Мэриан, они с Джоном были обязаны присутствовать, Мэриан узнала, что, хотя их «дом на холме» показался ей необъятным, по крайней мере одна резиденция на перешейке превосходила его размерами. Это был дом в Анконе, построенный за сто тысяч долларов для французского инженера по имени Жюль Динглер. Осенью 1883 года, через два года после того, как французы начали рыть канал, Динглер прибыл сюда с женой, сыном, дочерью и женихом дочери.

– И знаете, что он сказал перед тем, как покинуть Францию? – спросил человек, рассказывавший об этом.

То мероприятие представляло собой официальное сборище в бальном зале, из тех, которые не прельщали ни Мэриан, ни Джона. Незаметно для себя они оказались в группке из шести человек, замороженно слушавших рассказ одного из них.

– Он сказал: «Только пьяницам и распутникам грозит подхватить желтую лихорадку и умереть от нее».

– Но в то время это было расхожее представление, – добавил другой мужчина.

– Как далеко мы продвинулись! Не правда ли, Освальд?

Джон, стоявший рядом с Мэриан, кивнул и сказал:

– Весьма.

– Бедняге Динглеру не помешал бы такой опыт, как у вас.

– Хотите сказать... он... скончался? – спросила женщина в длинных атласных перчатках.

– Нет, нет, что вы, дорогая. Но всего через несколько месяцев, как Динглер прибыл со своей семьей, его дочь подхватила желтую лихорадку и...

Женщина ахнула.

– То-то и оно, – сказал мужчина. – А вскоре – и его сын. А за ним – жених дочери. А за ним – его жена.

– И все – от желтой лихорадки? – спросил еще кто-то.

– Да.

– А что Динглер?

– Вернулся в итоге во Францию, уверен, с разбитым сердцем.

Какое-то время все стояли в оцепенении, а затем один из мужчин сказал:

– Вы определенно знаете, как поднять настроение на вечеринке, Бэджли.

– Я подумал, что вежливость требует, чтобы наши новые гости были в курсе.

– В курсе чего? – спросил кто-то еще. – Что все это место проклято?

Бэджли улыбнулся.

– Ну, когда-то, возможно, так и было, но теперь уже нет. С желтой лихорадкой покончено, а Освальд позаботится и о малярии. – Он хлопнул Джона по плечу. – Ведь так?

Мэриан увидела, как Джон слегка покраснел. Ему было приятнее привлекать внимание к комарам, а не быть самому объектом внимания.

– В этом весь смысл, да, – сказал он.

Все так же держа руку на плече Джона, Бэджли продолжил:

– Не надо скромничать. Ваша репутация вас обгоняет. Мы все наслышаны, что вы как раз тот, кто нужен для этой работы. Что скажете? Вы действительно считаете, что возможно избавиться эту заразную дыру от малярии раз и навсегда?

Джон растянул губы в напряженной улыбке, и тогда Мэриан пришла ему на помощь:

– Это, безусловно, возможно. И вы правы: он тот, кто нужен для этой работы.

|||||

В Панаме было два сезона: влажный и сухой. Освальды прибыли в сухой, в начале года, когда вечерний бриз приносил прохладу, но в мае, когда с неба полил дождь, Джон предупредил Мэриан, чтобы она не слишком много времени проводила на воздухе.

– Комары свирепствуют, когда влажно. Для них это благодать.

– Но чем я буду заниматься? – спросила она.

На это он ничего не ответил.

– Погода улучшится в январе, – сказал он.

Мэриан в жизни не видела, чтобы небо извергало столько дождя. В Теннесси, когда она была маленькой, после грозы она обычно запускала руки в грязные лужи, собиравшиеся у них на полянке, и хватала лягушек. Независимо от того, шел дождь или нет, ее отец всегда смотрел в окно и говорил одно и то же: «Хотя бы деревья будут счастливы». Ей было интересно, что бы подумал отец о здешнем дожде. Он часто шел волнами. Поднимался ветер, раскачивая верхушки деревьев, и дождь хлестал по воздуху. А потом внезапно прекращался, как будто небо захлопывалось, и снова светило солнце. Но перерыв, как она усвоила, обычно был недолгим, пока тучи успевали накопить еще дождя и обрушить его с новой силой.

Несколько недель после начала влажного сезона Мэриан просидела на веранде, глядя на дождь. Сквозь медные сетки ей было видно часть города внизу, несколько зданий, а также железнодорожную станцию, куда весь день прибывали и откуда отбывали черные паровозы. Куда бы она ни посмотрела, люди приходили и уходили даже в самый сильный ливень, и она следила за ними с негодованием. Как мог Джон искренне ожидать, что она все время будет сидеть дома? Книжки, которые они привезли с собой, покрылись плесенью. И верхом в такую погоду не покатаешься. Не для того она проделала весь этот путь, чтобы просто сидеть на крыльце.

В первый раз, когда Мэриан вышла из дома, она только спустилась с холма и снова поднялась – просто ради удовольствия прогуляться. Спускаясь, она поскользнулась в грязи и приземлилась на пятую точку, посмеявшись над собой, и смех ей понравился почти так же, как и сама ходьба. Вернувшись в дом, она прополооскала одежду в корыте и почистила ботинки, и, когда Джон вернулся с работы, он так ничего и не узнал.

В конце концов она решила выбраться подальше и, оставив холм позади, вошла в город. Даже в дождь жизнь продолжалась. По улице шли мужчины в шляпах, промокших настолько, что поля свисали вниз. Женщины сжимали парасольки, обходя лужи. А Мэриан знай себе гуляла, наслаждаясь всем вокруг.

Город Империя находился в самой высокой точке канала, примерно на полпути между Тихим океаном и Атлантическим. Он примостился на выступе, откуда открывался вид на огромную Кулебрскую выемку, девятимильный отрезок канала, упирившийся в горы, которые пришлось разрыть. Иногда Мэриан выходила посмотреть на Выемку, глядя вниз с обрывистого края, и каждый раз у нее кружилась голова от таких масштабов, настолько колоссальных, что они казались почти нечеловеческими. Мэриан читала, что три миллиона лет назад произошло извержение подводных вулканов и на поверхность поднялись огромные пласты осадочных пород, соединившие два континента, образовав сухопутный мост, на котором они все стояли.

Теперь, очевидно, задача состояла в том, чтобы снова их разъединить, убрав землю от моря до моря. То, что сотворила природа, человек хотел повернуть вспять.



Проходили месяцы, а дождь не прекращался.

В доме Мэриан достала из буфета книжку с купонами и накинула дождевик. Он надежно закрывал верхнюю часть платья, но доходил только до колен. Ноги придется намочить.

У плиты стояла кухарка по имени Антуанетта, снимая крышку с большой чугунной кастрюли с рыбным рагу. Когда Мэриан сказала, что уходит, Антуанетта приподняла бровь и спросила, разумно ли это, когда такой сильный дождь.

– Я думаю, все будет в порядке, – ответила Мэриан, закалывая край дождевика. – Недаром я это надела.

Антуанетту порекомендовала другая супружеская пара с перешейка, родом из Джорджии, с которой Освальды познакомились на приветственном ужине, устроенном в их честь. Тогда Мэриан надела шелковое вечернее платье с тиснеными кружевами и уложила волосы в мягкую прическу помпадур, да только Джон не оценил ни того ни другого, и по дороге ему хотелось говорить, как обычно, только о работе. Он интересовался ее мнением о статистической аномалии, на которую в тот день обратили его внимание, и, хотя она убеждала его просто собрать побольше данных, эта проблема не давала ему покоя в течение шести блюд. Он молча ел черепаховый суп, жареную индейку и все остальное, что им подавали, пока остальные гости вокруг что-то рассказывали и смеялись. В какой-то момент, потянувшись за своим бокалом, он опрокинул зажженную свечу, и скатерть загорелась, так что мог случиться пожар, если бы другой мужчина из числа сидевших за столом не вскочил и не плеснул на огонь воду из стакана. Джон съезжился на своем месте, а хозяин дома отпустил шутку, чтобы сгладить неловкость, и больше никто об этом не заговаривал. Но Мэриан знала, что Джон должен был корить себя. Единственным положительным моментом за весь вечер стало то, что женщина, сидевшая рядом с Мэриан, та, что из Джорджии, спросила, удалось ли Мэриан подыскать какую-нибудь помощницу.

– Помощницу? – спросила Мэриан.

– Выбор здесь хуже некуда, – сказала женщина. – Негры здесь не то что дома. От них непросто чего-то добиться, и, похоже, никакой нагоняй не заставит их работать быстрее.

Однако она знала одну хорошую кухарку с Антигуа и посоветовала ее Мэриан. У Мэриан никогда не было ни кухарки, ни горничной, ни какой-либо другой помощницы в этом роде – ни в юности, ни в супружеской жизни, – но Джон, выросший в окружении прислуги, убедил ее попробовать.

– В Теннесси это было одно, но здесь все по-другому. Только не говори мне, что знаешь, что делать с кокосовым орехом. А я люблю хорошо поесть.

Антуанетта накрыла крышкой кастрюлю и вытерла руки о передник. Ей было сорок семь лет, и, хотя она оставалась такой же стройной, как в молодости, на висках уже обозначилась седина, а на тыльной стороне ладоней проступили вены. Иногда она смотрела на эти вены с неудовольствием, вспоминая о тех днях, когда была более гибкой, более сочной. В Антигуа она зарабатывала тем, что готовила рагу из соленой рыбы, козий бульон с ямсом и калалу<sup>6</sup>, ее коронное блюдо, и люди со всей округи охотно платили ей, потому что ее еда того стоила. Но даже самой хорошей едой зарабатывать удавалось немного. За несколько лет до того ее муж, которого она любила двадцать три года, взял и сорвал какую-то спелую ягоду, вдвое моложе себя. Антуанетта и не думала, что он способен на такое, но он это сделал – по той

---

<sup>6</sup> Калалу – тушеное мясо с зеленью.

простой причине, как она рассудила, что свежая ягодка слаще, чем лежалая. Она родила ему четверых детей. А вскоре после того, как сбежал муж, у ее брата настали трудные времена, так что он с двумя детьми перебрался к ней, и стало еще три лишних рта, которые нужно было кормить. Хоть она и была кухаркой, готовка в таких объемах – в общей сложности на восемь человек, считая себя, а также на продажу для всех желающих в округе, которых было около дюжины, – выжимала из нее все соки за сравнительно скромную плату. Кто-то сказал ей, что в Панаме она могла бы готовить вдвое меньше и зарабатывать вдвое больше. Как оказалось, это не совсем соответствовало действительности. Антуанетта выяснила, что в Панаме она могла готовить меньше пятой части того, что готовила раньше, и зарабатывать в три раза больше.

Мясо должно было тушиться еще несколько часов. Антуанетта рассчитывала подать его к ужину. После того как она накрывала на стол, она возвращалась к себе в комнату, которую снимала в переполненном многоквартирном доме в Панама-Сити, и думала о своих четверых детях, оставленных на попечение брата, задаваясь вопросом, хватает ли денег, которые она высылает каждые две недели, чтобы они хорошо питались, особенно ее младшенький, восьмилетний Артур, всегда бывший малорослым.

– Полагаю, что вернусь через час, – сказала миссис Освальд и вышла прежде, чем Антуанетта успела еще что-нибудь спросить.



Почти в каждом городке вдоль канала имелся свой универсальный магазин. В ведении департамента снабжения, отвечавшего за поставки в универмаги, также находились льдозавод, прачечная, пекарня, ежедневно выпекавшая более двадцати тысяч буханок хлеба, типография и поезд, каждое утро доставлявший заказы прямо на дом. Но главным центром притяжения были сами магазины. До краев набитые овощными консервами, печеньем, спичками, обувью, бейсбольными перчатками, шариками с камфарой, кукурузной мукой, солониной, помадой для волос, мылом, пилочками для ногтей, полотенцами, носовыми платками, атласными лентами, лентами из тафты, вазелином, зонтиками, тканями, кружевами, вазочками для мороженого, масленками, вешалками, часами, треской, сахаром, виноградным соком Уэлча, сигарами, губками, тростниковыми ковриками, мебельным маслом, крысоловками, яйцами, колбасами, бараниной, свининой, печенью, стейками, сливочным сыром, сыром невшател, сыром рокфор, швейцарским сыром, сыром гауда, эдамским сыром, сыром камамбер, пинкстерским сыром, сыром макларен, конденсированным молоком из Сент-Чарльза, сгущенным молоком «Нестле», квакерской овсяной кашей, квакерскими кукурузными лепешками, грейпфрутами, клюквой, свеклой, помидорами, сельдереем, шпинатом, квашеной капустой, репой, пастернаком, тыквами, баклажанами, столовыми приборами, половниками, терками, ситами, щипцами, венчиками, пальто, чулками, пуговицами, шляпами, трубками – всеми мыслимыми предметами роскоши и первой необходимости.

Но Мэриан ничего этого было не нужно. В универмаг она ходила, только чтобы выбраться из дома.

К тому времени, как Мэриан добралась до магазина и вошла в него, ее дождевик отяжелел от воды, а ботинки из лайки насквозь промокли. Она откинула капюшон и немного потопала. Молодая кассирша по имени Молли подняла глаза и, увидев Мэриан, улыбнулась и взмахнула рукой. Мэриан всегда отмечала неизменную приветливость этой девушки, приехавшей в Панаму с родителями. У нее были длинные светлые волосы, которые она, вопреки общепринятым правилам, носила распущенными. Возможно, в этом не было ничего такого, но Мэриан это казалось маленьким проявлением бунтарства, и она испытывала к Молли особую симпатию.

– Добрый день, мэм. Вижу, дождь еще идет?

– Дождь будет идти, боюсь, до января.

Молли улыбнулась. До Панама она жила на Гавайях, где, конечно, шли дожди, но не так часто, как здесь. Кроме того, она жила с родителями на Кубе и Филиппинах, но пока, несмотря на дождь, Панама ей нравилась больше всего. У нее был портативный фотоаппарат четыре на пять дюймов, размером примерно с буханку хлеба, который она повсюду брала с собой, хотя в Панаме ей, к сожалению, редко удавалось пустить его в ход. Она думала, что когда-нибудь, возможно, захочет стать журналисткой, даже женщиной-фотографом службы новостей, и будет путешествовать по миру со своим фотоаппаратом, но она никому об этом не говорила. В любом случае пока это было только хобби.

Миссис Освальд остановилась в дверях, и Молли обратилась к ней:

– Могу я помочь подобрать вам что-нибудь, мэм?

Мэриан стояла у входа, потому что с дождевика капало, а ей не хотелось, чтобы вода растекалась по всему магазину. В ответ на вопрос Молли она огляделась. То, чего она жаждала в жизни – дружеского общения, развития, – нельзя было найти ни в одном магазине на свете.

– Не знаю, – сказала Мэриан. – А есть что-нибудь новое?

– Ну, мы получили этим утром партию папайи. Из Флориды, полагаю.

– Папайи?

– Да, мэм. Я сложила вон там.

Мэриан обернулась посмотреть, куда указала Молли, на столе желтые папайи – самые большие, какие Мэриан доводилось видеть, – были уложены ярусами, как торт. Она снова посмотрела на Молли.

– Но папайя растет здесь.

– Здесь?

– В Панаме.

Молли, не очень понимая, что на это сказать, почла за лучшее согласиться.

– Да, мэм, растет.

– Тогда зачем импортировать ее из Флориды?

– Я... я не знаю, мэм. Но я знаю, что папайя у нас в магазине весьма свежая. Только что доставили.

– Из Флориды?

– Да, мэм.

Молли заломила руки, и Мэриан заметила с сожалением, что заставила молодую женщину разволноваться.

– В таком случае, – сказала Мэриан, все еще стоя у двери, – я возьму одну. Или две, вообще-то. Возьму две.

Молли просияла. Она вышла из-за кассы, подошла к ярусной витрине и взяла сверху две папайи. Она любила папайю, но из всех тропических фруктов больше всех ей нравился ярко-кислый вкус маракуйи, плода страсти, как его называли в народе. Молли вернулась к кассе и, выложив папайю на прилавок, стала пробивать ее.

– Сорок центов, мэм.

Мэриан вырвала нужный купон из своей книжки и расплатилась.

Когда Мэриан уходила, дождь все еще не прекратился, и капли барабанили по дождевику, пока она шла. В каждой руке она несла по папайе. «Словно младенцы», – подумала она и тут же остановилась. Она не знала, откуда взялась эта мысль. *Словно младенцы*. Стоя посреди грязной улицы в Панаме, она расплакалась.

Через год после свадьбы Мэриан настояла, чтобы они с Джоном завели детей. В положенное время месяца Мэриан расстегивала ночную рубашку, и Джон забирался на нее, а после, когда он с нее скатывался, Мэриан лежала на спине, согнув ноги в коленях, так как слышала, что это повышает шансы забеременеть. Она лежала не шевелясь и ждала, расправив рубашку,

пока Джон засыпал. Целый год они пытались, но безрезультатно. Один раз у Мэриан случилась задержка, и целых две недели она жила надеждой, но потом появилась кровь, коричневая кровь, оставившая небольшое пятнышко.

За это время она побывала у трех разных врачей, осматривавших и ощупывавших ее, и все они пришли к заключению, что с ней все в порядке. Никто не стал ощупывать Джона с подобной целью. Предполагалось, что мужчина в таких вопросах вне подозрений. «Продолжайте попытки» – таков был совет.

Сказав об этом Джону, Мэриан услышала в ответ:

– Ты действительно этого хочешь?

Такой вопрос больно задел ее, но она сказала:

– Да.

Они продолжали попытки нескольких месяцев. И вот следующей весной Мэриан обнаружила, что беременна. Ее месячные не приходили четыре недели, а грудь стала удивительно нежной на ощупь. Она была так счастлива, отмечая каждую прошедшую неделю в календарике, который прятала в ящике стола. Через два дня после того, как Мэриан отметила восьмую неделю, через два дня по прошествии полных восьми недель, в течение которых что-то в ней росло, завязывался ребенок, Мэриан обнаружила у себя в трусах капельки крови, такие маленькие, что ей пришлось присмотреться повнимательнее, прежде чем она поняла, что это такое. Не сказав Джону ни слова, она скомкала трусы и выбросила их. Она сказала себе, что у нее уже приличный срок и опасаться нечего. Но той ночью Мэриан проснулась от таких сильных спазмов, что Джон немедленно запряг экипаж и поехал в город за доктором. К утру кровотечение кончилось. Вместе с ребенком.

С тех пор все изменилось. Джон говорил, что они могли бы попытаться снова, но Мэриан сказала «нет» и больше не расстегивала ночную рубашку – ни с этой целью, ни с какой-либо другой. С тех пор вся близость между ними ограничивалась тем, чтобы лежать бок о бок в постели, и ни он, ни она не пытались прикоснуться друг к другу – с этим было покончено. Джон занимался своей работой, они были добры друг к другу, и Мэриан порой смотрела на него с пронзительным болезненным чувством. Она хотела любить его, и ей ужасно хотелось, чтобы он любил ее, но ни один из них, казалось, не понимал, что для этого нужно.

К тому времени, как Мэриан вернулась в дом, она пробыла под дождем не один час.

Антуанетта накрывала на стол в столовой и, услышав, как открылась парадная дверь, подняла глаза и с облегчением увидела, что вернулась миссис Освальд с двумя папайями в руках: она промокла насквозь, а щеки у нее стали почти пунцовыми. С дождевика накапал на пол круг воды.

– Он дома? – спросила Мэриан, тяжело дыша.

– Мистер Освальд? Нет, мэм.

Мэриан почувствовала, как у нее отлегло от сердца. Она вздохнула и закашлялась.

– Мэм? – Антуанетта шагнула к ней.

– Я в порядке, – сказала Мэриан. – Думаю, мне просто нужно снять эту одежду. Ты не возьмешь это? – Она протянула Антуанетте папайи. – Возьми и сделай с ними что-нибудь, если хочешь, но я не хочу их видеть.

Антуанетта кивнула. Она впервые видела, чтобы кто-то испытывал неприязнь к папайе.

Она смотрела, как миссис Освальд стягивает с себя дождевик.

– Мне нужно обсохнуть.

Антуанетта взяла у нее дождевик и, хотя больше ничего не сказала, обратила внимание, как миссис Освальд задрожала, поднимаясь по лестнице в спальню.

## 4

Под холмом, на котором жили Освальды, за железнодорожной станцией, за городком, названном Империей, с его заводами, клубом, аптекой, почтой и магазинами, за крутой террасой, насчитывавшей сто пятьдесят четыре ступени, дальше, дальше, дальше к Кордильерам, к основанию искусственного канала, глубина которого в настоящее время достигала сорока футов, а ширина – четыреста двадцати и который рос с каждым днем, трудились под дождем тысячи человек, разгребая лопатами грязь, закладывая динамит, прокладывая рельсы и рубя кирками неровные скалистые стены.

Каждое утро эти люди, приехавшие со всего мира – из таких стран, как Голландия, Испания, Пуэрто-Рико, Франция, Германия, Куба, Китай, Индия, Турция, Англия, Аргентина, Перу, Ямайка, Сент-Люсия, Мартиника, Антигуа, Тринидад, Гренада, Сент-Китс, Невис, Бермуды, Нассау и Барбадос, – стягивались в одно место, в Кулебрскую выемку. Они набивались в рабочие поезда и спускались по горному склону, а когда звучал свисток, принимались за работу. С восхода до заката они выгребали землю, стоя по колено в грязи. Они вдыхали угольный дым от паровозов, непрерывно сновавших туда-сюда. В ушах у них звенел грохот буровых установок, эхом отдававшийся от изрезанных горных склонов. Их руки покрывались волдырями и кровоточили оттого, что часами стискивали рукояти кирок и лопат. У них ныли ноги и болели плечи, а спины, казалось, вот-вот переломятся. Они все время были мокрыми. Нечего и думать о том, чтобы обсохнуть. Они были покрыты грязью. Нечего и думать о том, чтобы отмыться. Их башмаки расплзались по швам. Они дрожали в лихорадке. И пели песни под дождем. Они махали кайлами и втыкали лопаты, снова и снова.

### IIIIII

Омар Аквино, семнадцати лет, стоял в Выемке и утирал пот со лба. Был конец сентября, и с полей его шляпы лилась дождевая вода. Омар почувствовал, как в голове у него, ото лба к затылку, прокатилась волна, и замер в ожидании, пока она пройдет. Такие волны накатывали на него весь день, вызывая мимолетные головокружения.

– Ты в порядке? – спросил его ближайший рабочий с красным платком на шее.

– Да, – сказал Омар.

– Не надо отдохнуть?

Рабочего звали Берисфорд. Ему было двадцать лет, и он прибыл с Барбадоса всего несколько дней назад.

Позади них залязгал по рельсам и остановился паровоз, тянувший вереницу пустых односторонних платформ. Паровые экскаваторы опускали ковши, зачерпывая камни и глину, отбитые рабочими, затем поворачивались, пока их челюсти не зависали над рокотающими на холостом ходу платформами, и с грохотом сбрасывали все это. Когда платформы заполнялись, главный диспетчер подавал сигнал, и паровоз трогался, увозя нагруженные платформы. Плавно и бесперебойно прибывала новая вереница пустых платформ, готовых к приему нового груза. В таком ритме проходил весь день. Люди крошили скалу, экскаваторы черпали крошево, составы прибывали, составы убывали.

Омар периодически улавливал в этих звуках своеобразную музыку, и она ему нравилась. Шесть месяцев назад он пришел в администрацию канала и попросил работу. Всю дорогу сюда он продумывал, что скажет. «Я хочу помочь строить ваш канал». Омар выучил английский достаточно хорошо, чтобы читать книги, но ему редко приходилось говорить на нем. Служа-

щий в администрации спросил, откуда он родом, и, когда Омар сказал, что из Панамы, взглянул на него с удивлением.

– Панамцы к нам нечасто приходят.

Омар не знал, стоит ли на это что-то отвечать, поэтому повторил заученную фразу:

– Я хочу помочь строить ваш канал.

Служащий сложил руки на груди и откинулся на спинку стула, глядя на него оценивающе.

Омар был худощав и не слишком силен, но полон решимости, и, если бы служащий спросил, почему Омар хочет эту работу, он был готов ответить: потому, что верит, что канал – это будущее Панамы, что благодаря такому важному водному пути его страна навсегда будет связана с остальным миром. Но настоящая причина, по которой Омар хотел получить эту работу, – причина, о которой он никогда бы не сказал этому человеку, – заключалась в том, что всю свою жизнь он чувствовал себя маленьким и одиноким. Каждый день он просыпался и не знал, куда или к кому ему пойти. Он хотел придать смысл своим бессмысленным дням, хотел быть среди людей и не чувствовать себя одиноким большую часть времени. Что могло быть лучше для этого, чем принять участие в самом масштабном начинании, известном человечеству, на которое собрались тысячи людей и которое происходило в том самом месте, где он жил?

Но служащий в итоге так и не спросил его об этом. Он только пожал плечами и сказал:

– Какого черта, попытка не пытка.

В тот вечер, когда Омар рассказал об этом отцу, отец рассмеялся, как будто услышал анекдот. Когда же Омар показал выданный ему медный жетон с номером 14721, отец посерьезнел и спросил:

– Так это правда? – Тут же выражение его лица сменилось с серьезного на паническое. Он пристально смотрел, как Омар молча убирает жетон обратно в карман. – Значит, ты теперь один из них? – спросил отец, хмурясь. – Нет, нет, нет!

Он принялся расхаживать взад-вперед, яростно хлопая в ладоши. Несмотря на такую реакцию, Омар попытался ему объяснить. Он просто хотел посмотреть, на что это похоже, это предприятие, о котором все говорят. Хотел познакомиться с другими людьми. Хотел каждый день делать что-то значимое. Ведь у отца есть рыбалка, а у него будет это. Но отец его не слушал. Он продолжал хлопать в ладоши и верещать, как сбрендивший попугай, повторяя:

– Нет, даже не думай. Нет, нет, нет.

Омару пришлось признать, что он ничего не добьется словами. Он перестал пытаться что-либо объяснить и молча стоял, пока отец продолжал хлопать еще с полминуты. Затем отец хлопнул в ладоши последний раз и провозгласил:

– ¡Ya! ¡Basta!<sup>7</sup>

Это были последние слова, сказанные ему отцом. Хватит. С тех пор прошло почти шесть месяцев, и все это время Омар с отцом не разговаривали.

Омар воткнул кайло в грязь и оперся о рукоять. Он глубоко вздохнул. К волнам в голове добавился озноб.

Берисфорд снова спросил, не надо ли ему отдохнуть. Не успел Омар ответить, как Клемент, работавший с ними рядом, сказал:

– Нет такая вещь, как отдых. Только не здесь. Мужчины отдыхать, только когда умереть.

Клемент, родом с Ямайки, отличался мрачным нравом, но чем-то Берисфорд его особенно раздражал.

Не обращая на него внимания, Берисфорд взглянул на Омара и спросил:

– Нужен платок? Лицо утереть?

---

<sup>7</sup> Всё! Хватит! (исп.)

– Я в порядке, – сказал Омар, выдавив улыбку. У него был свой платок в заднем кармане брюк, но он был признателен Берисфорду за заботу. За те несколько дней, что Берисфорд здесь проработал, он относился к Омару лучше, чем кто-либо.

Омар еще раз глубоко вздохнул и ухватился за кайло. Делая замах, он заметил, как их бригадир, Миллер, идет вдоль карьера по грязи в высоких резиновых сапогах. Весь день он расхаживал туда-сюда и кричал на них на американском английском, попыхивая гаванскими сигарами.

– Миллион кубоярдов в этом месяце, ребята, – прокричал Миллер, перекрывая скрежет лопат и шум дождя. – Такая наша цель!

Берисфорд, стоявший рядом с Омаром, округлил глаза.

– Миллион, говорит?

Клемент сказал:

– Многовато для тебя, а?

– Нет.

Клемент поцокал языком.

– Эта работа не для слабый.

Берисфорд хорошенько замахнулся. Затем выпрямился и взглянул на Клемента:

– Как же тогда тебя сюда взяли?

Тринидадец по имени Принц, работавший с ними, рассмеялся. А Клемент только смерил Берисфорда злобным взглядом и стал дальше махать кайлом.

Пошатываясь, Омар поднял кайло над головой и замахнулся. Он почувствовал, как тяжесть кайла оттянула ему плечо. То ли кайло сегодня было тяжелей обычного, то ли у него поубавилось сил?

Ему хотелось, чтобы отец снова заговорил с ним. В конце концов, Омару было не с кем больше перемолвиться в доме. Его мать умерла, когда ему было всего несколько месяцев. От болезни, как сказал ему однажды отец, когда он спросил его, – от болезни, которая не лечится. Омар совсем не знал мать, хотя иногда говорил себе, что знал. Как-никак, он плавал между ее костей. Он знал ее изнутри. Но помнить не помнил, это правда. Так что все его детские воспоминания вращались вокруг отца: отец шлифует древесину, отец сыплет корм петуху на заднем дворе, отец стрижет Омару волосы над тазом, отец облизывает пальцы после еды – и, конечно, отец всегда ловил рыбу. Это было самым главным. Рыбалка составляла настолько неотъемлемую часть жизни отца, что без нее Омар едва ли мог его себе представить.

Каждый день отец выходил на рассвете из дома на берегу залива, отвязывал лодку, греб и забрасывал в море сеть. Когда отца не было дома, Омар, чтобы чем-то занять себя и просто из желания помочь, подметал полы, развешивал белье, выпалывал сорняки и чистил инструменты. Он срывал с деревьев лаймы и отжимал их, пока они не делались мягкими и сухими.

Он хотел бы ходить в школу, но ближайшая начальная школа была слишком далеко, и, даже если бы она была ближе, отец не видел в этом смысла. «В школе рыбачить не научат», – говорил отец. Когда Омар был маленьким, отец время от времени показывал ему, как наматывать леску, как затачивать крючок, как насаживать наживку. Вот какие уроки ему стоило учить. И все они готовили его к тому дню, когда отец наконец-то взял Омара в лодку.

В то утро Омар встал пораньше, горя желанием попробовать что-то новое, что-то необычное, чем можно было бы занять время, и он считал, что готов к этому. Но как только Омар ступил в лодку, его охватил страх, необъяснимый страх, который усиливался по мере того, как они отдалялись от берега. Выросши на берегу залива, он умел плавать, но почему-то вода внушала ему страх. В конце концов его руки стали так дрожать, что он с трудом смог заставить их делать что нужно. Он то запутывался в сети, то вдруг не мог завязать узлы, то его подташнивало, когда лодка качалась. Страх не покидал его до тех пор, пока они с отцом не вернулись

на берег. И то, как отец тогда посмотрел на него – с жалостью, – Омар никогда не забудет. Он понял, что потерпел неудачу. Больше отец не брал его на рыбалку.

Когда Омар не занимался домашними делами, он проводил большую часть времени, бродя где-нибудь в одиночестве. Он разговаривал с лягушками, сидевшими под колючими алоэ, или с бабочками, порхавшими в высокой траве вдоль грунтовой дороги. Лягушки сидели смиренно, когда он говорил, поэтому Омар садился рядом с ними, но не брал их в руки. Бабочки, однако, были непоседливы, поэтому Омар ловил их и держал в ладонях, чувствуя, как трепещут их крылышки, пока он поверял им шепотом свои секреты или печали, прежде чем отпустить.

Время от времени Омар спускался на берег и прислушивался к шуршанию крабов и шелесту волн. Он стоял на песке и всматривался в даль, пытаясь разглядеть на водной глади отца, уловить отблеск лодки на солнце. Иногда ему казалось, что он что-то видит, но в такой далекой дали, что он не был уверен, не мерещится ли ему.

По вечерам, когда отец возвращался домой после дня, проведенного в море, кто-нибудь из них готовил пойманную рыбу; они садились за стол и, если отец был не слишком уставшим, разговаривали за едой. Разговор шел о самых обычных вещах – об отцовских болячках, о том, сколько рыбы он выловил, о том, принес ли Омар стирку. Иногда отец ворчал на кого-то, с кем столкнулся на базаре, на кого-то, кто сделал что-то не так, как считал правильным отец.

– Куда катится мир? – спрашивал тогда отец, а Омар отвечал:

– Не знаю, папочка.

А теперь, хоть они и виделись дома по вечерам, они избегали друг друга. Отец по-прежнему приносил домой рыбу и готовил ее на ужин, но оставлял порцию Омара на столе, а сам выходил во двор, где садился на бочку и ел вместе с курами и петухами. Омар сидел за столом и ел в одиночестве, а затем молча шел в свою спальню, ложился на набитый пальмовыми листьями матрас и, пока не засыпал, смотрел в потолок, прислушиваясь с тяжелым сердцем, как отец шаркает по дому.

К тому времени, как Омар просыпался утром, отец уже успевал выйти в море.



– Поживее! – проорал Миллер с уступа карьера.

В какой-то момент кто-то из бригады – Миллер не мог сказать, кто именно, – запел песню. Возможно, эта песня отличалась от той, что они пели раньше, возможно, была той же самой. Миллер не знал, да и не хотел знать. Он был готов терпеть пение, если оно помогало людям работать быстрее. Не так давно сменилось начальство, и новый сотрудник, отвечавший здесь за все, был из армейских, а значит, не терпел никакого шаляй-валяй.

Миллер выбросил окурок сигары, достал из кармана комбинезона другую и закурил, прикрывая огонек ладонями. Дождь натек ему в сапоги, и пальцы ног хлюпали, когда он ими шевелил. Он сделал несколько быстрых затяжек и снова заорал:

– Осталась неделя до конца месяца. Пора поднажать, слышите? Ребята в Кулебре напирают, но мы еще можем их переплюнуть.

Миллер взял за правило каждую неделю просматривать «Канал-рекорд», где для всеобщего обозрения печатались итоговые сводки о раскопках на различных участках карьера. Ни одно подразделение еще не справилось с объемом производства в миллион кубоярдов в месяц, но это была поставленная цель, и Миллер хотел быть ответственным за ее достижение. Он представлял, какие почести и признание получит, если ему это удастся. Вполне возможно, что «Канал-рекорд» напишет о нем очерк и даже поместит рядом его фотокарточку.

– Говорят, – продолжал он, – что это будет глубочайшая выемка на земле за всю историю человечества. Вы только вдумайтесь! Вы станете частью истории, сечете?

Миллер подумал, что это, возможно, вдохновит их ускорить работу. Ведь это *и в самом деле* была живая история, разве нет? Сам президент так сказал. Соединенным Штатам суждено построить этот канал. Они воплотят мечту, возникшую четыре сотни лет назад. И если они этого добьются, то станут главной силой – ни дать ни взять наиглавнейшей – на мировой арене. С одним только этим гидроканалом Соединенные Штаты смогут контролировать морские пути, а стало быть, и торговлю и, таким образом, едва ли, черт возьми, не все вообще на земном шаре.

Миллер снова посмотрел на людей под его началом – в массе своей островитян. Он слышал много доводов в пользу их вербовки. Они были привычны к климату, знали английский, лучше переносили болезни. В конце концов, какое ему дело, лишь бы они выполнили работу.

Миллер прохаживался вдоль карьера, глядя, как поющие люди машут кайлами. Их работа состояла в том, чтобы кормить экскаваторы, рокотавшие позади них в ожидании очередной порции грунта. Управлять экскаваторами позволялось только американцам, и в каждой кабинке на самом верху сидел машинист, а на стреле балансировал крановщик. Миллер был бы не прочь попробовать силы в любой из этих профессий – они считались престижными, – но довольствовался своей наземной должностью.

До того как приехать в Панаму, Миллер работал на железной дороге. Его отец умер, когда Миллеру было тринадцать, оставив их с матерью на мели. Это мама вырастила его, несгибаемая женщина, умевшая из ничего испечь картофельный пирог, который хвалили в трех округах. Миллер рос неслухом и охотно признавал, что мама сделала для него все, что было в ее силах, но начиная с какого-то момента она уже никак не могла с ним справиться. Миллер дрался в школе, набрасываясь на любого, кто косо смотрел на него. А после школы продолжал драться на улицах. В нем бушевала дикая злоба, и долгое время он сам не мог понять, что с ним такое, и чувствовал себя дураком. Хотя все было яснее ясного. Взросление без отца давало себя знать – его словно все время трепал яростный ветер, норовя разорвать надвое. Когда его выгнали из школы, мама умоляла его вернуться, но Миллер рассудил, что в школе нечего делать такому парню, как он. Судя по тому, что он видел, это был лишь способ оболванивать людей, добиваясь от них приемлемого поведения и внушая им, что это делается ради их же блага. Но Миллер был уверен, что жизнь припасла для него что-то получше.

На железную дорогу его занесло, когда ему было шестнадцать. Он не знал, куда себя деть, и рельсы задали ему направление, указали путь. Первым делом это привело его в Чарльстон, где он устроился в недавно учрежденную Компанию восточнорбережной ветки и стал работать на строительстве прибрежного тупика. Два года спустя он работал на открытии транспортной артерии, позволявшей поездам доставлять хлопок по назначению. Миллер воочию убедился в важности этой артерии. Без нее был бы невозможен кровоток. Все дело в движении. Транспортное сообщение – ключ к успеху. Эти уроки Миллер крепко усвоил.

В 1893 году он решил, что пора двигаться дальше, и подался на запад, будоражимый духом свободы. Его перспективы простирались все дальше, как и территория страны. А железные дороги предлагали работу, сопряженную с риском. Он видел, как гибли люди, пытаясь соединить вагоны при помощи скобы и болта, как людей расплющивало в лепешку, как ломались черепа и кости, точно пруттики. Но если удача была на твоей стороне, оплата стоила риска.

Железная дорога привела Миллера в Кукурузный пояс<sup>8</sup> с его акрами прерий, поросших высокой травой. Большинство людей там были фермерами, они обрабатывали землю, получая с нее прибыль, и он чувствовал, что делает то же самое, прокладывая железную дорогу. Для чего нужна была земля, если не для того, чтобы люди могли ходить по ней?

То были дни, когда великое колесо прогресса набирало обороты. Телефоны сделали возможной мгновенную передачу голоса на огромные расстояния. Электричество бежало по про-

---

<sup>8</sup> Кукурузный пояс – обширный регион на Среднем Западе США, доминирующий в производстве кукурузы.

водам и освещало людям дома. А не сегодня завтра, как слышал Миллер, по улицам покатятся безлошадные экипажи. Американская смекалка была на высоте.

Железная дорога привела Миллера в Южную Дакоту, где он прожил несколько лет в горах Блэк-Хиллс, ложась спать под усеянным звездами небом. Туда же приносило и других железнодорожников. Были среди них Райли из Джорджии, почти каждый вечер варивший на открытом огне коровий горох; Ли из Канзаса, носивший винчестер со своими инициалами; некто, назвавшийся Билли Джонсом, хотя всем было известно, что так представлялись ковбои, не желавшие раскрывать своего настоящего имени. Большинство мужчин были холостяками, по собственному ли желанию или по воле судьбы, и после долгого рабочего дня всегда находилось несколько человек, включая и Миллера, направлявшихся в ближайший городок, чтобы завалиться в салун и спустить свои трудовые денежки на желанную выпивку. Миллер продолжал двигаться на запад, но железные дороги предлагали все меньше возможностей, ведь Соединенные Штаты к тому времени были уже вдоль и поперек опоясаны ими. Когда он достиг Калифорнии, ему показалось, что он добрался до края света.

Тогда-то его внимание и привлекла Панама. Все знакомые Миллера говорили о ней. Правительство США сотнями нанимало железнодорожников, чтобы прокладывать пути, необходимые для транспортировки грунта и техники через разрастающийся канал. Быть связанным с таким предприятием гарантировало определенный статус. Плюс к тому обещали хорошие деньги и бесплатное жилье.

Миллер начал с работы на железной дороге, а когда большая ее часть была построена, устроился бригадиром. Зарплата была достойной, но он рассчитывал, что будет делать что-то большее, чем просто держать весь день людей в карьере с рассвета до заката. Однако к этому в основном и сводился его великий вклад в великий Панамский канал. К тому же здесь было жарче, чем в преисподней, и мокрее, чем при Великом потопе. Люди называли это место адским чревом, и, принимая во внимание черный дым, жару, грязь, камни и нестихающий оглушительный грохот, название, безусловно, себя оправдывало. Никто не предупредил Миллера ни о чем подобном. Напротив, все, что он слышал о канале, было сплошным славословием: величайшее достижение инженерной мысли, которое когда-либо видел мир! Будущее цивилизации! Спасение тропиков! Он купился на все это, а теперь пытался продать другим людям.



Высоко над тем местом, где стоял Миллер и трудились люди, прогуливались по краю обрыва туристы, обозревая Кулебрскую выемку. Женщины в кремовых платьях держали над головой парасольки, защищавшие их от дождя.

– Видишь их? – спросил Берисфорд Омара.

– Да, – ответил Омар, пытаясь прийти в себя после очередного приступа озноба. Последнее время его знобило все чаще.

– Только они, кажись, нас не видят, – задрал Берисфорд голову.

Рабочий по имени Джозеф – насколько знал Омар, он был проповедником на Ямайке до того, как попал к ним в бригаду, – сказал:

– Мы часть пейзажа, как и всё вокруг.

Миллер заметил с уступа человека в карьере, который спокойно стоял, глядя наверх, и повернулся, чтобы посмотреть, что привлекло его внимание. На краю обрыва он увидел симпатичных американок, прогуливавшихся под дождем. Что ж, можно было догадаться. Миллер и сам задержался на минутку, любуясь ими, прежде чем спуститься. Его сапоги хлопали по грязи, между пальцами ног чувствовалась неприятная жижа. Спрыгнув прямо перед ротозеем, Миллер вынул изо рта сигару и сказал:

– Увидел что-то интересное?

Берисфорд, все еще шутившийся на туристок, от неожиданности чуть не выронил кайло.

– Хорошенькие, а? – продолжил Миллер.

Омар взмахнул кайлом, краем глаза наблюдая за происходящим. Клемент, Джозеф и все остальные в карьере продолжали махать кайлами, туда-сюда, туда-сюда, не сбиваясь с ритма. Принц что-то насвистывал.

– Я с тобой говорю или с кем? – сказал Миллер.

– Да, сэр, – ответил Берисфорд.

– Ну, я задал тебе вопрос.

– Я не знаю, сэр.

– Чего не знаешь? Хорошенькие они или нет? Разве не ты сейчас глазел на них?

– Не помню, сэр.

– Не помнишь? – Миллер покачал головой. – Послушай меня, парень. Эти красотки не про твою честь. Ты не на них смотри, а на свою работу.

– Да, сэр.

Омар наблюдал за происходящим и заметил, как Клемент чуть повернул голову, тоже любопытствуя. Берисфорд стоял под дождем с кайлом на плече, в насквозь промокнутой шляпе и с красным платком на шее.

– Ну так давай. В этом месяце надо вырыть миллион кубоярдов грунта, если помнишь, – усмехнулся Миллер.

Медленно, не глядя ни на Миллера, ни на кого-либо еще, Берисфорд поднял с плеча кайло и замахнулся.

## IIIIII

Ближе к полудню, как и каждый день, показался Хининщик. Омар никогда еще так не радовался его появлению. Он надеялся, что чашка хинина поможет ему справиться с лихорадочным ознобом, не оставившим его в покое.

– Хинин! – звучно произнес пришедший.

Берисфорд застонал:

– Божечки! Опять?

Принц перестал насвистывать и сказал:

– Он приходит каждый день.

– Но мне не нравятся его пойло. Такой паршивый вкус.

– Какая твоя разница про вкус? – сказал Клемент. – Хинин отводит малярию. Просто пей его как мужчина.

– Хочешь сказать, я не мужчина?

– Нет. Я сказать, пей хинин и не болей.

– Когда болей, не платят, – сказал Принц. А затем добавил: – Если не американец.

Клемент кивнул.

– Американцы болей и все равно получай деньги за то, что лежат в больница.

– А мы – нет? – спросил Берисфорд.

Принц пожал плечами:

– Такова жизнь в канале.

Хининщик остановился перед Омаром и налил горькую жидкость из фляжки в бумажный стаканчик. Омар, дрожа под дождем, взял его и поспешно выпил. Хининщик налил еще и протянул по стаканчику Берисфорду и Клементу. Клемент выпил все залпом. А затем демонстративно причмокнул губами и улыбнулся Берисфорду.

Берисфорд держал стаканчик двумя пальцами и смотрел на него с отвращением.

– За твоё здоровье! – подбодрил его Хининщик.

– Ты сможешь, – сказал Омар.

Берисфорд вздохнул:

– Я бы лучше рому выпил.

– Мы бы все бы рому, – сказал Принц с усмешкой.

Джозеф одобритительно кивнул.

Берисфорд стоял и пялился на стаканчик, и Омар со страхом заметил, как к нему порочно приблизился Миллер.

– Какая-то проблема? – спросил Миллер, вынув изо рта окурок сигары.

– Не хочет пить, – сказал Хининщик.

– В самом деле?

Миллер присмотрелся к Берисфорду и вздохнул.

– Опять ты. Что ты вечно создаешь мне трудности?

Берисфорд стоял молча.

– Пей хинин, – сказал Миллер.

– Я уже вчера, сэр.

– Ну, слава те господи, но его приносят каждый день. Я, конечно, понимаю, что с мозгами у тебя не очень, но суть в том, что тебе придется выпить его снова.

Берисфорд словно не слышал его.

– Пошевеливайся, черт возьми, ты теряешь драгоценное время.

Под морозящим дождем Берисфорд опустил взгляд на стаканчик у себя в руке. В приходе Святого Андрея, где он вырос, был пруд, к которому он ходил иногда по воскресеньям после службы. Если никого не было поблизости, он раздевался, заходил в воду и плавал. В воде, испещренной тенями и солнечными бликами, прохладные места чередовались с теплыми, и ему нравилось чувство скольжения нагого тела между ними. Однако то ощущение влаги на коже совсем не походило на то, что он чувствовал под дождем, и он подумал, не в том ли дело, что в одну влагу он погружался по доброй воле, а другая низвергалась на него сама, нравилось ему это или нет.

– Мне надо идти дальше, – подал голос Хининщик.

Омар молча взмолился, чтобы Берисфорд выпил хинин. Ему казалось, что и Принц, и Клемент, и Джозеф думают о том же самом.

– Пей уже это чертово пойло, – сказал Миллер, делая нажим на каждом слове.

Наконец Берисфорд поднес стаканчик к губам и отхлебнул.

Миллер улыбнулся:

– Другое дело. Мы же о тебе заботимся, усек?

Омар с Клементом согласно закивали, и Хининщик наполнил новый стаканчик и двинулся дальше.

– А теперь возвращайтесь к работе, – сказал Миллер и тоже удалился.

## 5

Пока ее старшая дочь лежала больной в задней комнате, а младшая искала приключения за океаном, Люсиль Бантинг сидела за кухонным столом с резным карандашом в руке и пыталась писать письмо. Карандаш она получила в подарок от Уиллоуби Далтона, человека, периодически проходившего пешком три мили от Кэррингтон-виллидж, где он жил, до ее дома на Астер-лейн, чтобы подарить какую-нибудь самодельную вещицу или что-то нужное в хозяйстве. Впервые Уиллоуби пришел к их дому добрый год тому назад, с охапкой цветов акации. Он встал с краю их участка и уставился на дом, словно забыл, зачем проделал такой путь. Люсиль смотрела на него из окна. Она уже видела его в церкви – на нем была все та же серая фетровая шляпа с немодно загнутыми полями, и он слегка прихрамывал, – и по прошествии приличного времени, в течение которого он стоял, не двигаясь с места, она отошла от окна и занялась другими делами. Целый час спустя, когда уже зашло солнце, Люсиль снова подошла к окну и увидела, как Уиллоуби уходит с охапкой цветов.

На следующий день он вернулся с другими цветами – на этот раз с плюмериями – и, дойдя до края участка, снова остановился, а Люсиль, стоя у окна, скрестила руки на груди, приготовившись наблюдать все то же странное зрелище. Но тут Уиллоуби зашел на участок и зашагал, прихрамывая, по грязной дорожке к дому. Люсиль вытянула шею и смотрела, как он медленно наклоняется на пороге, кладет цветы и еще медленнее распрямляется. А затем он снова ушел.

Настал день, когда Уиллоуби постучал в дверь. Люсиль открыла и обнаружила его стоящим рядом с очередной охапкой цветов, порядком отсыревших и побуревших. Она не стала убирать их с крыльца, поскольку хотела увидеть, долго ли это будет продолжаться.

Уиллоуби улыбнулся и осторожно снял фетровую шляпу.

– Добрый день, – сказал он. Голос у него был приятный, масляный и мягкий.

Люсиль ничего ему не ответила.

– Я вам цветов принес, – сказал он. Переступив с ноги на ногу, он продолжил: – Я приходил к вам. Прихожу с недавних пор. Ничего, похоже, не могу с собой поделать, и ум подсказывает мне, это должно что-то значить.

Он словно ждал чего-то.

Люсиль никогда еще не слышала, чтобы кто-то так говорил, так откровенно и умоляюще, словно он пришел показать ей рану, болезненное место, в надежде, что она его исцелит. Она могла бы при желании – не считая немодной шляпы, выглядел он вполне прилично, – но не понимала, чего ради. И сказала:

– Кто-то вечно ищет смысл там, где его вовсе нет.

Уиллоуби, с увядшими цветами под ногами, медленно надел шляпу. Он кивнул, затем развернулся, ступил в грязь и пошел обратно к дороге с пустыми руками, без малейшей опоры – на этот раз с ним не было ни цветов, ни той, ради которой он приходил. На мгновение Люсиль стало жаль его – на него было грустно смотреть, – но Уиллоуби, да и все остальные мужчины, если уж на то пошло, не вызывали у нее особого интереса. С тех пор каждый раз, как он возвращался, Люсиль просто принимала подарки, а затем отправляла его восвояси, словно бросала рыбу обратно в ручей. А эта старая рыба, знай себе, подплывала к тому же месту – чудо, да и только.

Так или иначе, Уиллоуби нередко приносил полезные вещи, и карандаш, который, по его словам, он выстругал сам, хорошенько его заточив, служил тому примером. Люсиль пользовалась им главным образом для разметки рулонов ткани и вычерчивания выкроек, что слегка упрощало шитье: можно было не полагаться на глаз, измеряя длину и представляя будущие формы. Впрочем, теперь карандаш пригодился ей для другой задачи – написания письма, –

оставалось только вспомнить, как это делается. Люсиль занесла карандаш над гладкой писчей бумагой и задумалась над тем, что хочет сказать.



Люсиль выросла в Бриджтауне, на сахарной плантации средних размеров, которой вот уже сто восемьдесят лет владело семейство Кэмби, и примерно половину этого времени на ней трудились предки Люсиль: сперва ее прадеды и прабабки, затем деды и бабки, затем родители и, наконец, она сама. Подобная преемственность на протяжении нескольких поколений была нетипична, и это отчасти объясняло, почему ее родители, родившиеся свободными, решили там остаться, хотя могли бы начать жизнь где-нибудь в другом месте. Там были их корни. Многие поколения Бантингов лежали в этой земле. И там они прожили свою жизнь просто потому, что для них это было тем местом, где протекала жизнь.

Семейная история, как ее услышала Люсиль, гласила, что после 1834 года, когда английская королева освободила всех рабов Британской империи, родители Люсиль, не знавшие иной жизни, взяли в аренду участок каменной земли в поместье Кэмби и построили домик вблизи манговой рощицы. Деревянный домик, в котором было две комнаты, передняя да задняя, стоял на валунах известняка, защищавших людей от влаги и сороконожек. Мама Люсиль не раз вспоминала, посмеиваясь, что бабушка до ужаса боялась сороконожек, и Люсиль, почти ничего другого о нем не зная, всегда представляла, как бабушка при виде сороконожки с визгом вскакивает на стул, и тоже невольно смеялась.

Получив свободу, многие люди, трудившиеся на плантации, в том числе друзья, долгие годы проработавшие бок о бок с родителями Люсиль, ее бабушкой и дедушкой, покинули поместье и ушли во внешний мир. Кто-то даже не пожелал остаться на Барбадосе, площадь которого в сто шестьдесят шесть квадратных миль оказалась для них мала, ведь теперь у людей появилась возможность уехать, куда им захочется, и жить, где им заблагорассудится. Мама Люсиль рассказывала о женщине по имени Бекки и ее муже Абрахаме, которые собрали свои скромные пожитки, расцеловались со всеми на прощание и ушли по гравийной дороге в большой мир, а через девять дней вернулись и говорили всем на плантации, что лучше уж оставаться на своем месте, потому что идти больше некуда. Вся земля уже занята. Мама объяснила Люсиль, что почти вся пахотная земля на острове принадлежит белым плантаторам, прежним рабовладельцам. Вернувшись, Бекки и Абрахам смогли взять в аренду небольшой участок на территории поместья Кэмби, чтобы было где построить домик с огородиком. День за днем они работали на той же земле, на которой трудились, будучи в рабстве, только теперь получали зарплату. Выбор у них был невелик. И многие довольствовались этим. С них сняли кандалы, как прибавляла мама Люсиль, но оставили на невидимой привязи.

В пять лет Люсиль с восходом солнца шла на поле полоть сорняки. В десять она кормила домашнюю скотину, и, хотя ее учили искусству расторопности, она иной раз задерживалась рядом с коровой, которую звала Хеленой, послушать ее мычание, и прилежно расчесывала вола, которого звала Джеймсом. Когда Люсиль исполнилось двенадцать, ее мама, не желавшая, чтобы жизнь ее единственной дочери прошла в поле, позаботилась, чтобы Люсиль пошла в школу, устроенную Кэмби на территории поместья. В то время в Бриджтауне уже были бесплатные школы, но дорога до ближайшей и обратно занимала по крайней мере сорок пять минут, и Кэмби рассудили, что лучше устроить свою школу, чем позволить работникам тратить столько времени впустую. С понедельника по пятницу мадам Кэмби, чьи познания ограничивались тем, что ей когда-то преподавали домашние учителя, сидела у стены сарая, заставленного скамейками, которые соорудили сами работники, и учила их детей буквам и цифрам, а также делилась своими личными наблюдениями над природой и познаниями в истории. Иногда она приносила из помещицкого дома книги и поднимала перед собой на всеобщее

обозрение, однако если кто-нибудь из школьников тянулся посмотреть на страницы поближе, она отдергивала книги, чтобы никто их не тронул. Много из того, что обещали им на словах, оставалось недостижимым.

По вечерам, после школы и ужина, мама садилась с Люсиль и обучала ее шитью – этот навык будет кормить ее до конца ее дней. Раз в год каждому работнику на плантации выдавали по длинному льняному отрезу, из которого они шили себе одежду. Но такой отрез представлял собой большую ценность, поэтому мама Люсиль брала клочок ткани и объясняла на нем, как шить строчкой-оборкой или ступенчатой строчкой и какая между ними разница. При свете очага она показывала Люсиль, как загибать пальцами складку, как закреплять вытачку и как делать запошивочный шов, чтобы даже изнутри одежда смотрелась опрятно. Когда же на клочке не оставалось свободного места, они распарывали швы, разглаживали ткань разогретой деревяшкой, и урок продолжался. Люсиль оказалась прирожденной швеей, и довольно скоро, когда весь клочок истерся, мама отдала ей льняной отрез, и она стала шить всю одежду для своей семьи. Ей нравилось шить, она любила работать с тканью руками и чувствовать, как скользит нитка. Когда закончился отрез, она взяла для шитья простыню. Самую страшную взбучку в ее жизни отец задал ей после того, как она отпоролa нарядную верхнюю часть своего стеганого одеяла, чтобы сшить себе новое платье. Однако это платье, с разноцветными пашками по всему лифу и юбке, было таким эффектным, что стоило юной Люсиль показаться в нем в школьном сарае, как мадам Камби спросила, откуда оно у нее. Когда же Люсиль, запинаясь, ответила, что сшила его сама, мадам Камби нахмурилась и велела ей сбегать домой и переодеться. «А то, что на тебе, оставь у нас дома. Положи на задние ступеньки». Люсиль сделала как ей было велено. Она подумала, что рано или поздно родители узнают об этом и, когда это случится, отец задаст ей такую порку, что прежняя покажется цветочками. Но вместо наказания Люсиль на следующий день получила свое платье обратно – его принесла в дом Бантингов одна из домашних служанок Кэмби, – а поверх платья лежала записка, написанная аккуратным почерком мадам Кэмби: заказ еще на два платья, «только не из одеял, но с таким же мастерством» для горничных. Вот так и получилось, что Люсиль с тех пор стала шить одежду для всей домашней челяди, не получая за это ничего, кроме самих рулонов тонкотканного поплина для пошива с позволением мадам Кэмби забирать себе остатки.

Вот так, несколько лет спустя, когда Люсиль было девятнадцать, она встретила старшего сына Кэмби, который уехал в Англию учиться в университете и вернулся с женой Гертрудой, чтобы управлять фамильным именем. Однажды утром Люсиль подошла к господскому дому, неся стопку недавно сшитых платьев. Она подошла к задней двери, собираясь, по обыкновению, отдать платья горничной Дженнет, но вместо этого увидела симпатичного, хорошо одетого белого мужчину, дергающего дверную ручку. Люсиль не узнала его и остановилась футах в десяти, наблюдая. Мужчина что-то пробормотал себе под нос. А затем, словно почувствовав, что на него смотрят, оглянулся через плечо и встретился с ней взглядом. Люсиль увидела, как он покраснел. Он отпустил дверную ручку и отступил на несколько шагов.

– Она заедала, еще когда я был мальчишкой. Просто удивительно, что никто до сих пор ее не починил, – сказал он.

Люсиль ничего не сказала на это, и мужчина стоял и смотрел на нее, пока из двери не выбежала Дженнет и не забрала у Люсиль платья, а затем заметила мужчину, замерла и сказала:

– Сэр.

Он добродушно улыбнулся – у него была обаятельная улыбка – и сказал:

– Очевидно, она открывается только изнутри.

Дженнет, смутившись, повторила:

– Сэр?

А мужчина посмотрел мимо Дженнет и снова поймал взгляд Люсиль так, словно высказал некую шутку, понятную только им двоим.

Это был, как выяснила Люсиль, Генри Кэмби, и их встреча стала первой в долгой череде последующих встреч.

Пройдет немногим больше двух лет, и Люсиль покинет поместье Кэмби. К тому времени ее старшей дочери, Миллисент, исполнится год, а младшей, Аде, будет всего несколько недель. Когда-то мама Люсиль не захотела, чтобы жизнь ее дочери прошла в поле, теперь же, став матерью, сама она не захотела, чтобы жизнь ее дочерей прошла в этом поместье. Пришла пора распрощаться с прошлым. Она хотела дать им что-то большее. Однако свой дом, прослуживший семье Бантингов не одно десятилетие, она решила забрать с собой. Генри Кэмби заявил во всеуслышание, что дом принадлежит Люсиль по праву наследства, – подобного аргумента в поместье Кэмби никто отродясь не слышал и больше не услышит. После этого среди работников долго не стихали пересуды о том, как Генри Кэмби вот так взял да отдал Люсиль Бантинг дом. Такой щедрый жест, помноженный на дочек Люсиль, подтвердил то, что большинство и так уже знало. Подобные истории были не редкостью на Барбадосе, поэтому никто за пределами поместья не придавал этому никакого значения.

Воскресным утром 1891 года Люсиль с несколькими работниками, которых она давно знала, разобрала свой дом на части. Они вынули доски и сняли дверь с петель. Открепили окна и вытащили их из рам, словно глаза из глазниц. Разобрали камни очага. Затем они сложили все это в тележки и фургоны и двинулись по гравийной дорожке, ведущей к поместью и от него, а над белой галькой, по которой хрустели колеса, подымалась меловая пыль. Впервые за двадцать один год своей земной жизни Люсиль прошла эту дорожку до конца. Она шла с Адой, привязанной к груди, и с Миллисент на спине. И смотрела прямо перед собой. Поскольку она не знала, что ждет ее впереди, не представляла, чего ищет, процессия продолжала двигаться куда-то в северо-восточном направлении, пока солнце не зашло и Люсиль не велела остальным остановиться. «Здесь», – сказала она. Заходящее солнце она сочла знаком от Бога, указанием на то, что она там, где ей следует быть. Они стояли на пыльной дороге, которая, как позже узнала Люсиль, называется Астер-лейн. Вблизи виднелось всего несколько домов. При свете фонаря ее друзья, работники, которым нужно было вернуться наутро к Кэмби на работу, начали строить. Сначала они заложили фундамент со стойками в каждом из четырех углов. Настелили пол, восемнадцать на десять футов. Возвели стены. Вставили окна. Они это умели. Им так часто приходилось терять дома – по Божьей воле или по человеческому умыслу, – что они научились отстраиваться. У них ушла на это большая часть ночи, но к тому времени, как взошло солнце, все было готово. Тот же домик стоял на новом месте. Тот же домик приготовился к новой жизни. Люсиль, измотанная как никогда, отступила от своего дома в величавых рассветных лучах и, преисполнившись гордости, смотрела на него и думала, как далеко она зашла. Она проделала не более трех миль от того места, где родилась и жила до тех пор, какие-то три жалкие мили, но чувствовала себя в совершенно другом мире.



Пути назад не было. Люсиль стала первой из Бантингов, кто ушел жить на новое место; как только она это сделала, заботы о двух дочерях легли ей на плечи, и впредь она должна была сама строить свою жизнь. Она принесла с собой все рулоны ткани, скопившиеся за прошедшие годы, все остатки и лоскуты, которые она хранила, рассортированные по цвету и рисунку, и шила из них одежду, пока дети спали, шила, хотя глаза ее слипались и она то и дело колола себя иглой. Она жила на новом месте, но сидела в свете того же очага, возле которого ее учила мама, подсказывая, как распустить рукав или собрать юбку. К тому времени ее мамы уже восемь лет как не стало, но Люсиль привыкла полагаться на то, что время от времени слышала за шитьем ее голос, словно мама была рядом. Но теперь, как бы Люсиль ни прислушивалась, она ее больше не слышала. И никогда уже не услышит. Никто больше ей не поможет, не на кого

будет положиться, кроме самой себя. Быть независимой – вот чего требовали от нее обстоятельства. Ей одной предстояло заботиться, чтобы ее девочки не ложились спать голодными, не испытывали нужды ни в еде, ни в любви, ни в чем бы то ни было, что нужно в этой жизни.

Когда девочки достаточно подросли, Люсиль настояла на том, чтобы они ходили в школу, и не жалела для этого шиллинга в неделю из своих скромных заработков. Обе дочери были смыслеными, и Люсиль понимала, что у них есть возможность стать кем-то, кем сама она никогда бы не стала. Вечерами Люсиль то и дело поднимала глаза от стежков и смотрела, как дочери выводят мелом буквы на грифельных дощечках. Она узнавала буквы, вспоминала по давним дням в сарайной школе, и они казались ей старыми друзьями. Иногда она улыбалась им, словно ожидая ответной улыбки. Но в основном она смотрела на то, как дочки их выводят, пытаясь заполнить пробелы в собственных знаниях, в том, чего не могла вспомнить, чему ее не учили. Миллисент была прилежна – мел скрипел, когда она старательно водила им по дощечке, – зато Ада писала быстрее, заинтересованная больше в том, чтобы поскорее разделаться с уроками, чем в том, чтобы сделать все правильно. Сколько бы раз Люсиль ее ни распекала, Ада всегда заканчивала первой и откладывала дощечку, выходя на крыльцо, послушать сверчков и поискать их в высокой траве. Для Люсиль все это было роскошью – и учеба, и возможность отложить ее в сторону.

Помимо учебы, Люсиль, как когда-то ее мама, стремилась научить дочек определенным практическим вещам: как прошить кайму и заштопать разрыв, как сварить ячмень в горшке, как забить гвоздь и подпилить доску, как считать деньги, как колоть дрова. Дома Люсиль заставляла девочек работать в небольшом саду, который она посадила на заднем дворе, и показывала, как собирать маниоку, тыкву, маранту, эддо и ямс. Она рассказывала дочерям о травах и растениях, объясняла, для чего пригодны молочай, раkitник и молитвенный абрус. А между тем шила одежду, зарабатывая достаточно, чтобы сводить концы с концами. В среднем за неделю она успевала сшить одно красивое платье. Она постоянно снимала с себя обрывки ниток. Иногда она катала их между пальцами, пока они не превращались в маленькие шарики, и выкладывала их поперек очага, пока их не набиралось достаточно, и тогда убирала их. Ей хватило бы таланта, чтобы шить одежду на заказ для белых бриджтаунских женщин, привыкших заказывать гардероб из Англии или из французских ателье, но Люсиль не могла достать тканей, которые предпочитали белые женщины, – бархата, шифона и шелковых кружев. Все, что она шила, было либо из хлопка, либо из муслина – обычные ткани она пыталась улучшить, подкрашивая свеклой и тысячелистником или сочетая узоры. Одежда, которую она шила, отличалась от остальной, поэтому ее искали на рынке цветные женщины, хотевшие выглядеть неотразимо. Для мужчин Люсиль, как правило, не шила.



В то утро к югу от них собиралась гроза, и Люсиль разбудил запах дождя. Не сам дождь, а его предчувствие. Воздух был пропитан этим специфическим запахом. Проснувшись, Люсиль лежала неподвижно несколько минут, вдыхая его и пытаясь расслышать рокот грома, но все, что она уловила, – это птичий щебет, выразивший, казалось, такое пренебрежение к погодным условиям, что она поневоле задумалась, не подводит ли ее чутье. Может, не будет никакой грозы. Может, ей этого только хотелось. Она была не единственной, кого бы обрадовал дождь. Засуха держалась на острове так долго, что едва ли кто-то мог что-то выращивать. Работы было мало. Люди голодали. И Люсиль думала, что хороший дождь мог бы облегчить им жизнь.

Она лежала целых пять минут, прежде чем повернулась и увидела, что кровать Ады пуста. Миллисент, слава богу, крепко спала, но Ады не было. Люсиль тут же села и огляделась. Комната была маленькой. Только три кровати, стоявшие бок о бок, в ней и умещались. Простыня Ады была откинута. Одеяло исчезло. Люсиль встала с кровати и поспешила в переднюю

комнату, но все, что она там нашла, – это школьную дощечку Ады на столе у очага, явно не случайно прислоненную к корзинке. Люсиль подошла ближе и прочла:

*Я направляюсь в Панаму заработать нам денег. Пришлю весточку, когда приеду.*

Люсиль резко обернулась, окинув взглядом помещение. У нее возникла мысль, что Ада, хоть и была уже не маленькой, решила поиграть с ней в прятки и сейчас выйдет из-за буфета или из-за двери, довольно ухмыляясь. Люсиль осматривалась не меньше десяти секунд, а затем с тяжелым чувством подошла к входной двери, открыла ее и вышла в пижаме на крыльцо. Она опустила взгляд на землю, но земля была такой сухой, что следов на ней не оставалось. На другой стороне улицы все было таким же, как всегда: дом Пеннингтонов с тем же трехногим горшком на крыльце, дом Каллендеров с рядом вишневых деревьев. Все то же самое. Тяжелое чувство сменилось страхом. Когда Люсиль вернулась в дом, мысли ее заметались, страх перерос в панику, и она заметила, что пропала стоявшая в углу пара черных ботинок. Ботинки эти принес несколько месяцев назад Уиллоуби, и Люсиль, приняв его очередной подарок, поставила их на пол и с тех пор не трогала. Теперь же, увидев, что их там нет, Люсиль поняла, что Ада не шутит. Ее порывистая, своевольная дочь на самом деле подалась одна в Панаму.

|||||

И вот Люсиль занесла карандаш над бумагой. Что она должна была сказать? Что она сердится? Что ее снедает страшная тревога? Что в каком-то труднообъяснимом смысле она все понимает? Люсиль держала карандаш в воздухе. Ей хотелось написать что-то загодя, чтобы, как только от Ады придет весточка, *если* придет, Люсиль могла бы сразу отправить что-то в ответ. Уйдя с территории Кэмби, она перестала слышать мамин голос. Но как бы сама она ни сердилась и ни тревожилась, ей хотелось, чтобы Ада знала, что мысленно она все равно с ней.

Столько всего нужно было сказать, и непонятно, с чего начать. Люсиль сидела под лампой и пыталась выводить буквы, но правописание всегда давалось ей с трудом, и ей казалось, что ее письмо никуда не годится.

## 6

Утолив голод и облегчив мошну, Ада шла по главной улице Империи. Одной маммеей она не наелась, но это было уже что-то, и Аде казалось, что она в жизни не ела ничего вкуснее, не считая разве что маминого черного пирога, который та пекла раз в год на Рождество, и Ада с нетерпением ждала его все триста шестьдесят четыре дня. Спелая маммея, учитывая, какой голод мучил Аду, была на втором месте.

Пока Ада шла по улице, она успела пожалеть, что выбросила косточку, а не положила в карман, чтобы можно было снова пососать ее. Может, там еще остался вкус, какая-нибудь малость, которую она не распробовала. Ее тянуло вернуться и поискать косточку или купить вторую маммею, но она не стала этого делать. Ее желудок успокоился, по крайней мере пока, поэтому она шла дальше.

Судя по солнцу, было около полудня. Жара в Панаме, как показалось Аде, не уступала жаре на Барбадосе, но воздух был более влажным и таким плотным, что она бы не удивилась, если бы, сжав пальцы, ухватила его, как грязь. Но даже в таком слякотном воздухе улица была не менее оживленной, чем в Бриджтауне. По дороге цокали экипажи, запряженные лошадьми, и лязгали телеги, запряженные мулами, которых вели под уздцы мужчины. Женщины шли, неся корзины – за спиной, на голове или на боку. На углах улиц разговаривали хорошо одетые люди. Все здания выглядели чистыми и новенькими.

Еще до того, как уйти из дома, Ада слышала, что самая распространенная работа для женщин в Панаме – это стирка. Стирку она не любила, но сказала себе, что не будет привередничать. Если не получится устроиться никем, кроме прачки, она станет прачкой. Дома в день стирки мама отправляла Миллисент и Аду к тазу за домом, чтобы они отстирали свои платья. Миллисент стирала добросовестно, оттирая весь подол и воротник, вымывая грязь, въевшуюся за прошедшие дни, тогда как Ада обычно просто окунала платье в воду и смотрела, как пойманный воздух раздувает пузырями ткань, а потом разок кружила платье по тазу и вынимала, объявляя, что она – всё. Миллисент иной раз качала головой и говорила, чтобы Ада опустила платье обратно. После чего оставляла свое и принималась за платье сестры. Окунув его в воду, она начинала, закусив губу, тереть большим пальцем места между пуговицами. Она делала это с любовью, и Ада не возражала. Она всегда позволяла Миллисент позаботиться о себе. А теперь хотела сама позаботиться о сестре.



Когда Миллисент только заболела, никто не встревожился. Заложенный нос требовал чая и хорошего сна, не более того. Но постепенно Миллисент становилось все хуже. Через несколько дней у нее появился кашель, влажный и хриплый, и она так ослабла, что не могла даже встать с постели. Миссис Пеннингтон и миссис Каллендер, жившие через дорогу, и даже миссис Уимпл, которая жила подальше к западу, приходили к ним, спрашивая, не могут ли они помочь. Они приносили чай, заваренные по своим рецептам, но ни один чай – ни с шалфеем, ни с лимонной травой, ни с лавровым листом – не давал, судя по всему, никаких результатов. Миссис Уимпл предложила позвать знакомого знахаря, но Люсиль не верила в такие вещи и прямо сказала об этом. Миссис Уимпл покачала головой и сказала, что Люсиль «не мудрее морской воды», – Ада нередко слышала эти слова в адрес мамы, имевшей склонность не оправдывать чужих ожиданий своим поведением, одеждой или образом жизни. По мнению Ады, эти слова выражали одну черту в мамином характере, которую она любила в ней больше всего, – свободомыслие. В какой-то момент миссис Каллендер, чьи дети уже выросли, загля-

нула в спальню, посмотреть на Миллисент, а выйдя, мягко положила руку на плечо Люсиль и сказала: «Вам срочно нужен врач». И Ада увидела, как мама согласно кивнула, словно миссис Каллендер высказала то, что она и так уже знала.

Врач прибыл к ним только через неделю. Это был белый врач из города, бравший по десять шиллингов за осмотр на дому, помимо оплаты проезда. Одетый в элегантный костюм с галстуком, он вошел в спальню с ученым видом и быстро провел осмотр. Годом ранее на Барбадосе была вспышка брюшного тифа, затронувшая более пятисот душ. Четыре года назад по острову прокатилась эпидемия оспы. Казалось, что-то такое вечно носилось в воздухе. Ада с мамой сидели в спальне как на иголках и ждали, что скажет врач. Миллисент лежала на боку, согнувшись калачиком, и выглядела неважно.

Закончив осмотр, врач повернулся к ним и спросил:

– Давно этот кашель?

– Две недели, – ответила мама.

Врач кивнул, словно ожидал это услышать.

– У нее развилась пневмония, – сообщил он. – Не могу сказать, каким образом.

– Пневмония?

– Хорошая новость в том, что она выжила. Самая тяжелая инфекционная стадия уже прошла. Плохая новость в том, что у нее, боюсь, скопилась жидкость в легких. Это нельзя так оставлять. Процент смертности в таких случаях довольно высок. – Люсиль ахнула, но врач продолжил: – Ей требуется операция. Это называется резекция ребер, чтобы удалить лишнюю жидкость.

– Операция? Когда?

– Ее состояние, вероятно, будет стабильным ближайшие недели. Но чем дольше будет скапливаться жидкость, тем хуже ей будет. В конечном счете это вызовет защемление легкого, что почти наверняка приведет к коллапсу.

Врач встал, давая понять, что сказал все, что считал нужным.

– А сейчас вы не можете это сделать? – спросила Люсиль, вскакивая вслед за врачом.

– Операцию?

– Да. Я бы сразу вам заплатила.

– Стоимость данной операции составляет пятнадцать фунтов.

Ада увидела, как вытянулось лицо мамы при этих словах.

– Вы, разумеется, можете отвезти ее в общую больницу. Поскольку она уже не заразна, ее, скорее всего, примут.

– Но вы можете сами это сделать?

– Да, но...

– Тогда я бы предпочла, чтобы вы сделали это здесь.

– За последние годы в больнице провели множество улучшений. Там совершенно безопасно.

Но Ада знала, что мама не доверяла больнице, так же как не доверяла банку и любому другому учреждению, кроме школы и церкви. Для нее больница, переполненная хворыми, была просто-напросто местом, куда люди отправлялись умирать.

– Пятнадцать фунтов? – переспросила мама.

– Да. И оплата проезда, разумеется.

После того как врач ушел, Ада присела у кровати Миллисент и стала мягко гладить ее по спине. Она думала, что сестра заснула, но через несколько минут Миллисент прошептала:

– Я боюсь.

Ада стала гладить ее медленней.

– Не бойся, – успокоила она.

– Она идет за мной.

Ада без пояснений поняла, что имела в виду Миллисент. И сжала ей руку.

– Она еще далеко, – с трудом сглотнула Ада. И сказала мягко: – Она еще долго к тебе не придет.

Миллисент ничего не ответила, и, поскольку Ада все равно стояла на коленях, она начала молиться про себя. Но в середине молитвы услышала странный сдавленный звук через открытое окно. Мама, проводив врача до экипажа, не вернулась в дом и теперь, как догадалась Ада, стояла за домом, думая, что ее никто не слышит, и плакала. За все свои шестнадцать лет Ада ни разу не слышала, чтобы мама плакала, но теперь, стоя на коленях, не сомневалась, что слух ее не подводит.

Следующим же утром Ада собрала свои вещи и поднялась на корабль.

## IIIIII

Ада шла по улице, высматривая в витринах объявления о найме, и увидела посреди дороги людей, сбившихся в кучу точно пчелы, оживленно обсуждая что-то и показывая на землю. Если бы с ней была Миллисент, она бы потянула Аду за локоть, побуждая не задерживаться и не совать нос туда, куда не просят, но Миллисент всегда старалась держаться подальше от неприятностей, тогда как Ада, по словам мамы, была полной противоположностью. «Вечно тебя тянет куда-то», – часто говорила мама.

Ада подошла к краю толпы и встала на цыпочки, стараясь что-нибудь разглядеть. Вокруг стояло около дюжины человек, они переговаривались и показывали пальцами, а в самом центре Ада увидела молодого человека, неподвижно лежавшего на земле с закрытыми глазами и в шляпе, частично съехавшей с головы.

– Что случилось? – спросила она.

Никто ей не ответил.

Помимо шляпы, на молодом человеке была испачканная синяя рабочая рубашка и штаны цвета хаки в засохшей грязи.

– Он умер? – спросила Ада, но ей снова никто не ответил. Затем она увидела, как мужчина дернулся. Она оглядела людей, стоявших над ним, мужчин и женщин с темными и светлыми лицами, и все они кричали и махали руками, но ничего не делали, чтобы помочь. Недолго думая, Ада протолкалась сквозь толпу и опустилась на колени рядом с несчастным.

Какая-то женщина ахнула.

– Не трогай его! – крикнул мужчина. – Он как пес шелудивый!

Ада увидела, как вздымалась и опадала грудь лежавшего. Руками он держался за бок. Оливковая кожа лоснилась то ли от дождя, то ли от пота.

Ада перегнулась через мешок, лежавший у нее на коленях, и сказала ему:

– Все в порядке.

Люди в толпе продолжали гомонить: «Брось его! Дура ты!» – только Ада их не слушала. Она сидела, склонившись над человеком, и смотрела ему в лицо. А затем тихонько запела знакомый церковный гимн. Мама часто напоминала Аде с Миллисент не петь на людях, разве что в церкви. «Только Бог и простит наши голоса», – смеясь, говорила она. Но от пения в церкви Аде всегда становилось лучше, и она подумала, раз этот человек мучается, возможно, ему хоть немножко полегчает, если она ему споет. Когда он разжал руки, она обрадовалась, что была права. Она взглянула ему на грудь. Он едва дышал.

Ада присела на пятки и обвела взглядом лица собравшихся.

– Ему нужен врач, – сказала она.

Несколько человек закивали, но никто не сдвинулся с места.

– Нам надо отнести его в больницу, – продолжала она.

– Тут неподалеку полевой госпиталь, – выкрикнул кто-то.

– Нет, если у него тропическая малярия, ему нужна больница в Анконе, – сказал еще кто-то.

– А далеко Анкон? – спросила Ада, не вставая.

Человек с подтяжками, стоявший в первом ряду, ответил:

– Пешком далече. На санитарный поезд ему надо. Они регулярно ходят, но сам я не знаю, когда следующий будет.

На каждом слове он моргал.

Ада сказала:

– Санитарный поезд... он подходит к здешней станции?

– Да.

До станции было всего два квартала.

– Окей, тогда идемте.

Человек с подтяжками перестал моргать и распахнул глаза, как две луны.

– Я к нему не притронусь, нет уж.

– Но вы сами сказали. Мы должны посадить его в санитарный поезд.

Человек покачал головой:

– У него лихорадка, как я погляжу.

В расстроенных чувствах, не вставая с колен, Ада оглядела толпу и, отметив двух самых сильных с виду мужчин, обратилась к ним:

– Ну-ка, помогите мне поднять его.

Этими двумя были Альберт Лоуренс из Порт-о-Пренса и Уэсли Барбье из Форт-Либерте. Хотя они оба приехали с Гаити, до этого дня они друг друга не знали – Альберт работал на одном из заводов в Империи, а Уэсли служил в Кулебре, где закладывал динамит, но с того дня они подружились на всю жизнь и много лет спустя вспоминали, как девушка с решимостью апостола Павла и мужеством Руфи выбрала их из толпы и заставила сделать то, чего сами они боялись.

Двое мужчин шагнули вперед и подняли больного. Один взял его за подмышки, другой – за ноги, и так они направились вниз по улице к зданию полицейского участка. Ада поспешила за ними. Им пришлось дважды останавливаться, чтобы ухватиться поудобнее. Ни один из них не сказал ни слова, но Ада видела, как они то и дело переглядывались. Множество людей из толпы потянулись за ними.

Вскоре они оказались на железнодорожной станции, в небольшом деревянном депо, где стоял паровоз на холостом ходу. К паровозу были прицеплены два пассажирских вагона, а за ними – две пустые платформы. Мужчины подняли молодого человека на платформу, и Альберт, который достаточно хорошо знал английский, попросил машиниста, сидевшего в кабине, отвезти его в больницу в Анконе.

– Это не санитарный поезд! – крикнул, высунувшись из кабины, машинист.

С колотящимся сердцем Ада подошла к паровозу.

– В этом поезде человек, которому срочно нужно в больницу.

– Говорю же вам, это не больничная поезд.

– Ему нужен врач.

– Извините, но это не я.

– Пожалуйста!

– Ему придется добираться туда каким-то другим способом. Это не санитарный поезд. Это поезд, боюсь, пассажирский.

Ада стиснула зубы.

– Вот и везите пассажира.

Ада фыркнула и оглянулась на платформу.

Все пришедшие за ней на станцию, столпились вокруг.

Вдруг кто-то крикнул:

– У него губы посинели!

Ада снова повернулась к машинисту, сидевшему высоко в кабине.

– Он умирает! – сказала она.

Машинист высунул голову из окна и оглянулся, чтобы посмотреть, но не подал виду, что собирается трогаться.

У Ады в душе вскипало негодование. Она уже подумывала о том, чтобы распахнуть дверцу паровоза и самой сесть на место машиниста. Однако открыла свой мешок, засунула руку поглубже и вытащила одну из двух оставшихся у нее крон. Она глубоко вздохнула и подняла руку.

– Если я дам вам это, вы его повезете?

Машинист посмотрел на Аду сверху вниз. Он свесился из кабины и схватил монету с ее руки. На мгновение у нее мелькнула тревожная мысль, что он может взять ее деньги и все равно не сделать того, о чем она просит, но затем она услышала резкий гудок. Внезапно поезд тронулся с места.

Поезд еще не скрылся из виду, когда Альберт, чьего имени Ада так и не узнала, подошел к ней, улыбаясь, и пожал руку. Она улыбнулась в ответ, а потом стояла, провожая его взглядом.

Только когда толпа разошлась, она осознала, как сильно колотилось ее сердце. Солнце стояло высоко в небе. За первый же день в Панаме она потратила больше половины своих денег – одну монету, чтобы не умереть с голоду, и еще одну, чтобы, как она надеялась, спасти жизнь молодому человеку. Она заметила, что юбка у нее испачкалась, когда она опускалась на колени, а ботинки до щиколоток были заляпаны грязью.

Ада сошла с платформы, держа в руке мешок. По другую сторону улицы стоял белый человек в накрахмаленном льняном костюме и пристально смотрел на нее. Одну руку он держал в нагрудном кармане под лацканом пиджака. Вытащив руку, он направился к ней. Ада сжала челюсти, готовясь к чему-то, хотя и не знала, к чему именно. Капитан корабля заметил, что она безбилетница? Или она успела вляпаться во что-нибудь еще?

Человек перешел улицу и остановился перед Адой.

– Вы совсем не боялись? – спросил он.

Он смотрел на нее спокойными голубыми глазами через очки в медной оправе, поблескивавшие из-под полей белоснежной шляпы. Он был важной персоной. Это было ясно.

– Он ведь болен, знаете ли. Малярией, без сомнения.

Ада кивнула.

– Но вы не побоялись заразиться?

– Нет.

– Почему?

– Полагаю, на все воля Божья.

Человек поправил очки, хотя они и так сидели у него на самой переносице.

– Откуда вы?

– Из Бриджтауна, с Барбадоса.

– А зовут вас как?

– Ада Бантинг.

– Вы здесь в связи со строительством канала, осмелюсь предположить?

– Я здесь в связи с поисками работы. Я слышала, в Панаме полно работы.

– И есть у вас работа? На данный момент?

– На данный – нет, но я ищу.

Человек выгнул бровь, и под его аккуратными усами обозначился едва заметный намек на улыбку.

– Полагаю, вы ее уже нашли, – сказал он. – Идемте со мной.

## 7

Сын Франсиско, Омар, несколько дней не показывался дома. Это было нетипично.

В первую ночь Франсиско вышел на грунтовую дорогу перед домом и стал ждать его, скрестив руки на груди, потом разжал их и снова скрестил, с нетерпением прислушиваясь к шагам в темноте. Он слышал пение сверчков в траве и шелест океана, но ничего похожего на приближение сына. Луна скрылась за облаками. Через некоторое время, совершенно измотанный, с трудом передвигая ноги, Франсиско вернулся в дом, зажег свечу и уселся ждать на жесткий деревянный стул. Он так и заснул, откинув голову на спинку, а когда проснулся утром от крика петухов, то почувствовал боль, начинавшуюся от макушки и расходившуюся до позвоночника между лопатками. Он попробовал потянуться, но боль только усилилась. Он потер шею пальцами, но тщетно. Он медленно встал и побрел в спальню Омара в задней части дома. Сына там не было. Франсиско снова вышел на улицу, теперь под яркое палящее солнце, и снова встал на дороге, вглядываясь в даль. Дорогу, слякотную в это время года, окаймляла высокая трава и низкорослые фруктовые деревья, но слякоть оставалась с вечера нетронутой. Их дом был единственным в округе так близко к заливу. Больше никто не ходил этой дорогой. Если бы Омар заглядывал ночью домой, он бы оставил следы.

Франсиско поплелся в дом. Он мог бы простоять на улице весь день, но что бы это дало? У него была работа, которая ждала его: поймать и продать рыбу. Он подумал, что мог бы отправиться на поиски сына, но как? Бесцельно бродить по полям и городским улицам, выкрикивая имя Омара? Отправиться в Ла-Боку<sup>9</sup> в надежде найти потерявшегося мальчишку среди тысяч мужчин? И то и другое было бы бессмысленно, а что касается Ла-Боки, то ему там делать нечего. «Ла-Бока» – так Франсиско мысленно называл канал: пасть, зияющая дыра, жадно поглощающая все на своем пути. Как сказал его герой, великий Белисарио Поррас<sup>10</sup>, Соединенные Штаты поглощали Панаму. А Франсиско не хотел быть проглоченным. Не хотел соваться на вражескую территорию вместе с этой оравой понаехавших. И то, что его сын проделывал это изо дня в день, было для него тяжким унижением, едва выносимым позором.

Следующим утром Франсиско вышел в море и занялся тем, чем занимался всю свою жизнь, – ловлей рыбы. Тем же самым до него занимался его отец, и Франсиско считал это одной из самых почетных профессий. С тех пор как люди пришли в эти края, они ловят рыбу в здешних водах, реках и морях. Само название Панама значит «много рыбы».

Франсиско отвязал лодку от колышка, торчавшего между двух валунов на берегу, и забрался внутрь. Он оттолкнулся от берега и стал бороться с порывистыми, резкими волнами, пока не отплыл достаточно далеко, чтобы забросить в воду сеть, а затем начал медленно грести. Лодка покачивалась. Утреннее небо розовело. Гребя, он смотрел на свои руки, на пальцы, которые уже не работали так проворно, как раньше. Они были жесткими и непослушными. Прямо как он сам, подумал Франсиско. С недавних пор пальцы болели, когда он сжимал весло. Куда подевался Омар? Почему не приходил домой? С ним что-то случилось? Франсиско попытался выбросить эту мысль из головы. Возможно, он зря волновался. В конце концов, Омар уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принимать решения, что ясно дал понять отцу. Возможно, он нашел себе новое жилье и решил жить один, а ему не сказал. Ничего удивительного, ведь они не разговаривали уже целых шесть месяцев. Так что, возможно, в этом и было дело – он просто перебрался на новое место. И все же Франсиско чувствовал, как отчаянно, словно колибри, бьется сердце у него в груди. Он вздохнул и посмотрел за борт лодки на глу-

<sup>9</sup> La Boca – рот, устье, жерло (*исп.*).

<sup>10</sup> Белисарио Поррас (1856–1942) – колумбийский и панамский журналист и государственный деятель, трижды становившийся президентом Панамы: в 1912–1916, 1918–1920 и 1920–1924 годы.

бокую мутную воду, подернутую рябью. Каждый день, что он сидел вот так в одиночестве, он вглядывался в воду, пытаясь увидеть дно и все свои потери. Но того, что он хотел увидеть, там не было.



Городской рыбный рынок примыкал к другому, более крупному рынку, где продавали птицу и фрукты. Каждый день после того, как Франсиско вытягивал сеть с уловом, он подплывал к причалу, привязывал лодку и вытаскивал на сушу мешок. Он нес его сквозь вонь и шум другого рынка, пока не добирался до рыбного, где ставил на землю и тащил по скользкому, залитому кровью полу к прилавку единственного торговца, с которым имел дело, некоего Хоакина, который жил в городе и, как выяснил Франсиско, платил лучше всех.

Хоакин был похож на медведя, с широкими покатыми плечами и шеей шириной с голову, но самой яркой его чертой была улыбка, обычно игравшая на лице. К тому времени Франсиско вел с ним дела уже почти двадцать лет, и, хотя улыбка временами исчезала, она каждый раз возвращалась.

– Друг мой! Как дела? – спросил Хоакин подошедшего Франсиско.

Франсиско ничего не ответил, и Хоакин нагнулся, вглядываясь ему в лицо.

– Ужасно выглядишь, – сказал Хоакин.

– Мне не спалось.

Хоакин хлопнул по прилавку перед собой.

– Вываливай сюда. Надеюсь, рыба сегодня выглядит лучше тебя.

Утренний улов в основном состоял из трески и горбыля да одного омара, затесавшегося невесть каким образом. Полумертвые рыбы упорно держались за жизнь и, когда Франсиско высыпал их на прилавок, затрепыхались.

Хоакин стал перебирать их голыми руками.

– А что тебе не спалось? – спросил он. – Сны плохие снились?

– Нет.

– Нет? Как и мне. Мне плохие сны никогда не снятся. И хорошие тоже. Когда я сплю, я сплю. Другое дело, Валентина. У жены такие сны бывают, среди ночи просыпается. Но хуже всего, что она будит *меня* и рассказывает их, будто кто-то нам велел делиться снами. Я люблю жену, ты знаешь, и мы много чем делимся, но я не считаю, что нам надо делиться еще и этим. Так и хочется сказать: женщина, дай поспать!

Франсиско кивнул. Он знал, что Хоакин любит поговорить.

– Один раз ей приснилась лошадь, пытавшаяся скакать с обрубленными по колено ногами, и она проснулась вся в слезах. Рассказывает мне и приговаривает: «Разве не грустно?» Я ее урезонил, что это не всамделишная лошадь. Но какое там. Лучше бы я этого не говорил. То она грустила о приснившейся лошади, а то взялась на меня, что я не грущу с ней о приснившейся лошади. Мы битый час ругались из-за этого! – Хоакин покачал головой. – А с недавних пор ей снятся плохие сны о доме. Дом исчезает в клубах дыма, дом пожирают тараканы. Я ведь говорил тебе, ходят слухи, что всех в ее городке заставят переселиться? Всех! Даже ее сестру, которая до сих пор в родительском доме живет.

Франсиско снова кивнул. Хоакин сто раз ему рассказывал, что североамериканцы хотят возвести плотину в Гатуне, из-за чего всем жителям грозит выселение.

– Да, ну так вот, я стараюсь не судить. Почему ее сестра вообще живет в этом доме? И ведь одна живет! Почему до сих пор замуж не выйдет? Можешь не отвечать. Мне понятно почему; ты бы ее видел, тоже понял бы. Но должен же быть где-то мужик, которому по барабану, как она выглядит. – Хоакин усмехнулся. – Как я сказал, я стараюсь не судить. И я, конечно, понимаю, что она привязана к дому, в котором выросла. Что до меня... Я был в том доме, и, если между

нами, мне милей мое городское жильё. Но я все равно понимаю. Им дорог этот дом – и ей, и Валентине. У них воспоминания. Думать о том, что он будет заброшен, что его снесут... – Хоакин покачал головой. Все это время он перебирал рыбу и наконец перестал. – Извини. Давай поговорим о чем-нибудь повеселей. Как твой мальчишка? Я что-то почти не слышу о нем в последнее время.

Франсиско скривился. Меньше всего ему хотелось говорить об Омаре.

– Ау, ты меня слышал? Я спросил, как твой мальчишка? Что он поделывает в эти дни?

Франсиско оглядел рынок, думая, как бы сменить тему, но все, что он увидел, – это торговцев, разговаривавших с покупателями, все кругом были чем-то заняты. Голоса смешивались в воздухе с солоноватым рыбным запахом.

– Ты уже научил его ловить рыбу? – спросил Хоакин.

– Нет.

– Нет? Сколько ему уже?

– Семнадцать.

– Так чего ты ждешь?

Несколько лет назад Франсиско взял сына с собой на рыбалку. Он не всегда понимал, как быть хорошим отцом, как направлять мальчишку, но он умел ловить рыбу и, во всяком случае, мог передать это сыну. Однако пробный выход в море не оправдал ожиданий. Едва они оттолкнулись от берега, Омара сковал страх, и он сидел, вцепившись в борта лодки, а когда Франсиско попросил его развернуть сеть, лежавшую у него в ногах, Омар умудрился каким-то образом напрочь ее спутать. У Франсиско ушло целых десять минут, чтобы привести ее в порядок. И когда наконец он это сделал, то показал Омару, как крепить сеть к борту лодки, – это был простой узел, но даже с ним Омар справился с трудом.

– Расслабься, – сказал Франсиско со смутным беспокойством.

Возможно, мальчик не годился для рыбалки. Однако когда плохо привязанная сеть соскользнула в океан, Франсиско заподозрил истинную причину страха Омара. Вода обладала силой, и Омар имел с ней связь, о которой не подозревал. И все же казалось, что мальчик каким-то образом это чувствовал. Франсиско быстро выхватил сеть, пока она не ушла под воду, и, присев на корточки, поднял ее и сказал:

– Видишь? Все в порядке.

Но Омар сидел не шевелясь и, казалось, еле сдерживал слезы. Напряжение не отпускало его, пока они не ступили на сушу. К тому времени Франсиско уже точно знал, в чем дело. Не желая подвергать Омара мучениям, которые были выше его понимания, он не стал просить сына снова отправиться на рыбалку.

– А может, все едино, – сказал Хоакин, не придав значения молчанию Франсиско.

– Что?

Хоакин принялся взвешивать рыбу, продолжая говорить:

– Знаешь, сколько раз я звал сына, Орасию, показать ему рынок, преподать свою профессию? Но всякий раз, как я заговорю об этом, он отказывается. «Мир меняется, – говорит. – Есть вещи поважнее рыбы». Конечно, в его словах есть правда. Мир на глазах у нас меняется, так ведь? – Хоакин нахмурился на треску, которую положил на весы. – Эта не годится. Могу взять на корм собакам, если за так отдашь.

Франсиско взглянул вопросительно.

– А чем она плоха?

– Цвет негодный.

Хоакин схватил рыбу за хвост и швырнул подальше. Проскользив по полу, она стукнулась о стену. Тут же ее окружили три собаки, и началась возня.

Хоакин ухмыльнулся.

– Будет им угощение. – Он положил на весы очередную рыбу и продолжил: – Проблема молодежи в том, что они нас не слушают. Они думают, что, прожив на этом свете вдвое меньше нашего, понимают вдвое больше.

Хоакин почти закончил взвешивать. Всего было, по подсчетам Франсиско, семнадцать рыбин, без учета той, что досталась собакам. Семнадцать рыбин должны были потянуть на тридцать пять центов – плюс-минус достаточно, чтобы прожить еще один день. Конечно, Омар теперь тоже зарабатывал, но Франсиско считал эти деньги «кровавыми», и даже если бы Омар предложил оплатить часть их расходов – например, кофе и хлеб, – Франсиско отказался бы.

Хоакин положил на весы последнюю рыбу. И бросил с довольным видом в лоснящуюся кучу к остальным. На полу под столом собиралась розовая лужица крови.

– Сегодня восемнадцать, друг, плюс омар, – сказал Хоакин. Он отсчитал монеты и протянул их Франсиско.

– Так чем он будет заниматься? – спросил Франсиско.

– Кто?

– Орасио.

Хоакин закатил глаза.

– Я не знаю. Он зарабатывает там и сям, но у него нет такой работы, на которую можно положиться. Ничего постоянного, понимаешь? Валентина говорит мне, если он не проявляет интереса к рыбному рынку, это еще не значит, что все потеряно. Он все же мог бы найти приличную работу. Лишь бы только не подался к янки, на канал, такое мое мнение.

Хоакин фыркнул.

У Франсиско вспыхнуло лицо. Но он молчал.

– Дети, – сказал Хоакин. – Что тут поделаешь?

Франсиско медленно кивнул. Но, стоя там, он чувствовал себя неуютно, как будто Хоакин знал что-то темное и постыдное о нем или, во всяком случае, об Омаре, что, в свою очередь, бросало тень на него, и внезапно ему захотелось уйти, скрыться от его пристального взгляда.

Он собрался уходить. Хоакин прокричал ему вслед:

– До завтра, пайса<sup>11</sup>!

Но Франсиско, охваченный жгучим унижением, ничего не сказал в ответ. А когда одна из собак, черно-белая дворняга, подошла и стала обнюхивать его ноги, Франсиско отпихнул ее с такой силой, что она взвизгнула, и до конца дня его грызла совесть.



Двадцать лет назад Франсиско впервые увидел Эсме, стоявшую на площади перед Кафедральным собором Мехико. На ней было ярко-лиловое платье с гофрированным верхом и юбкой до земли. Волосы цвета воронова крыла были расчесаны на прямой пробор и собраны в тугий пучок на затылке. Франсиско тогда было двадцать два года. Ему и раньше встречалось много эффектных женщин, но не таких, как Эсме, – даже с расстояния, разделявшего их, он был уверен, что никогда еще не видел таких темных, глубоко посаженных глаз в обрамлении столь же темных ресниц, похожих на крылья летучей мыши. А под внешним краем левого глаза у нее была родинка, похожая на каплю чернил, как будто темнота разлилась и оставила свой след.

Франсиско был заворожен. Он не мог отвести от нее глаз. Эсме разговаривала с подружкой на площади и, заметив, что Франсиско пялится на нее, повернула голову и встретилась с ним взглядом. Франсиско почувствовал, что дрожит. Темнота ее глаз нахлынула на него. Ее подруга тоже обернулась, но Франсиско не замечал ее. Все, кроме Эсме, исчезло. Он видел лишь ее, блаженно отъединенный от остального мира.

---

<sup>11</sup> Paisa – общее название жителей северо-западного региона Колумбии (*исп.*).

День был пасмурный, в небе клубились тучи, обещая дождь. Франсиско шел по площади, как по маслу. Он едва чувствовал, как его ноги касаются земли. Подойдя к Эсме, он сказал:

– Прошу прощения. Меня зовут Франсиско. Я был бы рад познакомиться с вами. – Он протянул руку.

Она не подала ему руки и не назвала имени. Она пахла как цветок. Он повторил свои слова:

– Прошу прощения. Меня зовут Франсиско. Я был бы рад познакомиться с вами.

Она не сводила с него своих темных глаз, и он чувствовал себя словно в трансе. В глубине этих глаз таилось какое-то волшебство. Ее подруга хихикнула. Тогда Франсиско осознал, что все еще держит руку в воздухе. Он попытался опустить ее, но тщетно. Его рука просто не двигалась. Ощущение было такое, будто она окаменела. Разве такое возможно? Поддавшись панике, Франсиско опустил глаза, чтобы вырваться из-под взгляда Эсме. Тут же его рука свободно упала. Он пошевелил пальцами, убеждаясь, что они работают. Затем потряс рукой и покачал головой, недоумевая, что с ним такое.

Боясь снова поднять глаза, Франсиско попятился, развернулся и поспешил через площадь. Он нырнул в переулок и прижался спиной к прохладной стене. Через минуту он выглянул из-за угла, но ни девушки, ни ее подруги уже не было видно.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.